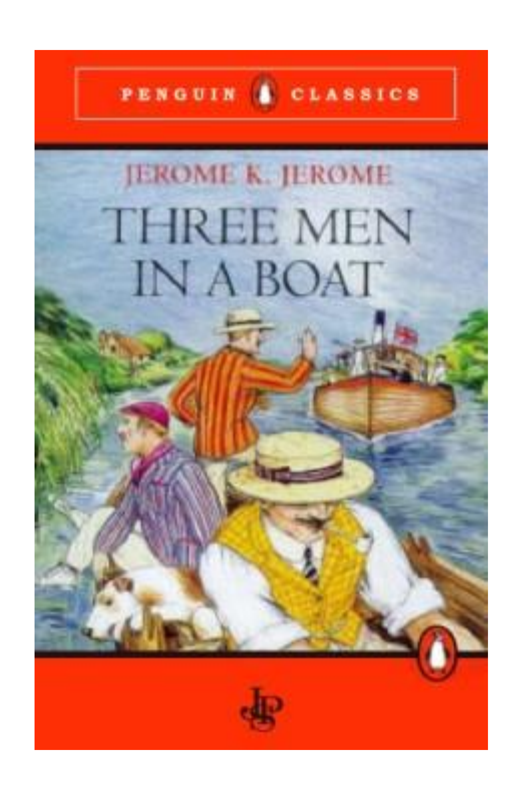
Джером К. Джером

Трое в лодке, не считая собаки



Предисловие

Прелесть этой книги – не столько в литературном стиле или полноте и пользе заключающихся в ней сведений, сколько в безыскусственной правдивости. На страницах ее запечатлелись события, которые действительно произошли. Я только слегка их приукрасил, за ту же цену. Джордж, Гаррис и Монморанси – не поэтический идеал, но существа вполне материальные, особенно Джордж, который весит около 170 фунтов. Некоторые произведения, может быть, отличаются большей глубиной мысли и лучшим знанием человеческой природы; иные книги, быть может, не уступают моей в отношении оригинальности и объема, но своей безнадежной, неизлечимой достоверностью она превосходит все до сих пор обнаруженные сочинения. Именно это достоинство, скорее чем другие, сделает мою книжку ценной для серьезного читателя и придаст больший вес назиданиям, которые можно из нее почерпнуть.

Лондон. Август 1889 года[1]

Глава I

Трое инвалидов. – Немощи Джорджа и Гарриса. – Жертва ста семи смертельных недугов. – Спасительный рецепт. – Средство от болезни печени у детей. – Нам ясно, что мы переутомлены и нуждаемся в отдыхе. – Неделя в океанском просторе. – Джордж высказывается в пользу реки. – Монморанси выступает с протестом. – Предложение принято большинством трех против одного.

Нас было четверо: Джордж, Уильям Сэмюэль Гаррис, я и Монморанси. Мы сидели в моей комнате, курили и разговаривали о том, как плох каждый из нас, – плох, я, конечно, имею в виду, в медицинском смысле.

Все мы чувствовали себя неважно, и это нас очень тревожило. Гаррис сказал, что у него бывают страшные приступы головокружения, во время которых он просто ничего не соображает; и тогда Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы головокружения и он тоже ничего не соображает. Что касается меня, то у меня была не в порядке печень. Я знал, что у меня не в порядке именно печень, потому что на днях прочел рекламу патентованных пилюль от болезни печени, где перечислялись признаки, по которым человек может определить, что у него не в порядке печень. Все они были у меня налицо.

Странное дело: стоит мне прочесть объявление о каком-нибудь патентованном средстве, как я прихожу к выводу, что страдаю той самой болезнью, о которой идет речь, причем в наиопаснейшей форме. Во всех случаях описываемые симптомы точно совпадают с моими ощущениями.



Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея,[2] чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, – кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, – знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, – и не успел я добраться до середины перечня «ранних симптомов», как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.

Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал Прямо по алфавиту. Прочитал об анемии – и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка.

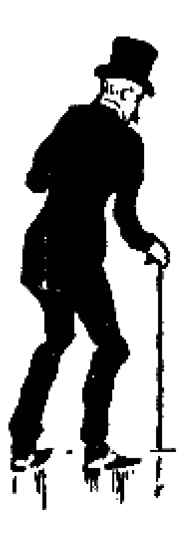
Вначале я даже обиделся: в этом было что-то оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет родильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден? Однако спустя несколько минут моя ненасытность была побеждена более достойными чувствами. Я стал утешать себя, что у меня есть все другие болезни, какие только знает медицина, устыдился своего эгоизма и решил

обойтись без родильной горячки. Зато тифозная горячка совсем меня скрутила, и я этим удовлетворился, тем более что ящуром я страдал, очевидно, с детства. Ящуром книга заканчивалась, и я решил, что больше мне уж ничто не угрожает.

Я задумался. Я думал о том, какой интересный клинический случай я представляю собою, каким кладом я был бы для медицинского факультета. Студентам незачем было бы практиковаться в клиниках и участвовать во врачебных обходах, если бы у них были. Я сам – целая клиника. Им нужно только совершить обход вокруг меня я сразу же отправляться за дипломами.

Тут мне стало любопытно, сколько я еще протяну. Я решил устроить себе врачебный осмотр. Я пощупал свой пульс. Сначала никакого пульса не было. Вдруг он появился. Я вынул часы и стал считать. Вышло сто сорок семь ударов в минуту. Я стал искать у себя сердце. Я его не нашел. Оно перестало биться. Поразмыслив, я пришел к заключению, что оно все-таки находится на своем месте и, видимо, бьется, только мне его не отыскать. Я постукал себя спереди, начиная от того места, которое я называю талией, до шеи, потом прошелся по обоим бокам с заходом на спину. Я не нашел ничего особенного. Я попробовал осмотреть свой язык. Я высунул язык как можно дальше и стал разглядывать его одним глазом, зажмурив другой. Мне удалось увидеть только самый кончик, и я преуспел лишь в одном: утвердился в мысли, что у меня скарлатина.

Я вступил в этот читальный зал счастливым, здоровым человеком. Я выполз оттуда жалкой развалиной.



Я пошел к своему врачу. Он мой старый приятель; когда мне почудится, что я нездоров, он щупает у меня пульс, смотрит на мой язык, разговаривает со мной о погоде – и все это бесплатно; я подумал, что теперь моя очередь оказать ему услугу. «Главное для врача – практика», – решил я. Вот он ее и получит. В моем лице он получит такую практику, какой ему не получить от тысячи семисот каких-нибудь заурядных пациентов, у которых не наберется и двух болезней на брата. Итак, я пошел прямо к нему, и он спросил:

– Ну, чем ты заболел?

Я сказал:

– Дружище, я не буду отнимать у тебя время рассказами о том, чем я заболел. Жизнь коротка, и ты можешь отойти в иной мир, прежде чем я окончу свою повесть. Лучше я расскажу тебе, чем я не заболел: у меня нет родильной горячки. Я не смогу тебе объяснить, почему у меня нет родильной горячки, но это факт. Все остальное у меня есть.

И я рассказал о том, как сделал свое открытие.

Тогда он задрал рубашку на моей груди, осмотрел меня, затем крепко стиснул мне запястье, и вдруг, без всякого предупреждения, двинул меня в грудь, – по-моему, это просто свинство, – и вдобавок боднул в живот. Потом он сел, написал что-то на бумажке, сложил ее и отдал мне, и я ушел, спрятав в карман полученный рецепт.

Я не заглянул в него. Я направился в ближайшую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его и вернул мне.

Он сказал, что такого у себя не держит. Я спросил:

– Вы аптекарь?

Он сказал:

– Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь. Но я только аптекарь.

Я прочитал рецепт. В нем значилось:

Бифштекс ……… 1 фунт
Пиво ……….. 1 пинта (принимать каждые 6 часов)
Прогулка десятимильная … 1 (принимать по утрам)
Постель ……… 1 (принимать вечером, ровно в 11 часов)
И брось забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь.

Я последовал этим предписаниям, что привело к счастливому (во всяком случае, для меня) исходу: моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив.

Но вернемся к вышеупомянутой рекламе пилюль. В данном случае у меня были все признаки болезни печени (в этом нельзя было ошибиться), включая главный симптом: «апатия и непреодолимое отвращение ко всякого рода труду».

Как меня мучил этот недуг – невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех пор как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что у меня больная печень. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда все это сваливали на лень.

– Как? Ты все еще валяешься в постели, ленивый чертенок! Живо вставай да займись делом! – говорили мне, не догадываясь, конечно, что все дело в печени.

И они не давали мне пилюль – они давали мне подзатыльники. И как это ни удивительно, подзатыльники часто меня вылечивали, во всяком случае – на время. Да что там говорить, один тогдашний подзатыльник сильнее действовал на мою печень и больше способствовал ускорению движений и незамедлительному выполнению всех дел, которые надлежало выполнить, чем целая коробка пилюль в настоящее время.

Видите ли, нередко простые домашние средства более радикальны, чем всякие дорогие лекарства.

Так мы провели полчаса, расписывая друг другу наши болезни. Я изложил Джорджу и Уильяму Гаррису, как я себя чувствую, просыпаясь по утрам, а Уильям Гаррис рассказал нам, как он себя чувствует, ложась спать, а Джордж, стоя на коврике перед камином, с редкой выразительностью и подлинным актерским мастерством представил нам, как он себя чувствует ночью.

Джордж воображает, что он болен, но, уверяю вас, он здоров как бык.

Тут в дверь постучала миссис Попитс и осведомилась, не пора ли подавать ужин. Мы скорбно улыбнулись друг другу и сказали, что, пожалуй, попробуем что-нибудь проглотить. Гаррис высказался в том смысле, что если заморить червячка, то развитие болезни может

несколько задержаться. И миссис Попитс внесла поднос, и мы поплелись к столу и принялись ковырять бифштексы с луком и пирог с ревенем.

Я, должно быть, уже совсем зачах, так как через каких-нибудь полчаса вовсе потерял интерес к еде, – этого еще со мной не случалось, – и даже не притронулся к сыру.

Выполнив таким образом свой долг, мы снова налили до краев стаканы, закурили трубки и возобновили разговор о плачевном состоянии нашего здоровья. Что, собственно, с нами творилось, определенно никто сказать не мог, но мы единодушно решили: что бы там ни было, все дело в переутомлении.

– Нам просто-напросто нужен отдых, – сказал Гаррис.

– Отдых и перемена обстановки, – добавил Джордж. – Умственное переутомление вызвало упадок деятельности всего организма. Перемена образа жизни и освобождение от необходимости думать восстановят психическое равновесие.

У Джорджа есть двоюродный брат, которого всякий раз, когда он попадает в полицейский участок, заносят в протокол как студента-медика, поэтому нет ничего удивительного, что на высказываниях Джорджа лежит печать семейной склонности к медицине.

Я согласился с Джорджем и сказал, что хорошо бы найти какой-нибудь уединенный, забытый уголок, вдали от суетного света, и помечтать недельку в сонных его закоулках, – какую-нибудь заброшенную бухту, скрытую феями от шумной людской толпы, какое-нибудь орлиное гнездо на скале Времени, куда лишь едва-едва доносится гулкий прибой девятнадцатого века.

Гаррис сказал, что это будет смертная тоска, Он сказал, что отлично представляет себе уголок, который я имею в виду, – эту захолустную дыру, где укладываются спать в восемь часов вечера, и где ни за какие деньги не раздобудешь «Спортивный листок», и где надо прошагать добрых десять миль, чтобы разжиться пачкой табаку.

– Нет, – сказал Гаррис, – если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего прогулка по морю.

Я решительно восстал против прогулки по морю. Прогулка по морю хороша, если посвятить ей месяца два, но на одну неделю это не имеет смысла.

Вы отплываете в понедельник, лелея мечту об отдыхе и развлечении. Вы весело машете рукой приятелям на берегу, закуриваете самую внушительную свою трубку и начинаете расхаживать по палубе с таким видом, будто вы капитан Кук, сэр Фрэнсис Дрейк и Христофор Колумб[3] в одном лице. Во вторник вы начинаете жалеть, что пустились в плавание. В среду, четверг и пятницу вы начинаете жалеть, что родились на свет божий. В субботу вы находите в себе силы, чтобы проглотить чашку бульона, и, сидя на палубе, отвечаете кроткой мученической улыбкой на вопросы сострадательных пассажиров о том, как вы себя чувствуете. В воскресенье вы уже способны самостоятельно передвигаться и принимать твердую пищу. А в понедельник утром, когда вы с чемоданом в руке и зонтиком под мышкой стоите у трапа, ожидая высадки, – прогулка по морю вам уже решительно нравится.

Я вспоминаю, как мой шурин предпринял однажды небольшое морское путешествие для укрепления здоровья. Он взял каюту от Лондона до Ливерпуля и обратно, но, добравшись до Ливерпуля, он был озабочен только тем, как бы сплавить обратный билет.

Говорят, он предлагал его каждому встречному и поперечному с неслыханной скидкой; в конце концов билет был пристроен за восемнадцать пенсов некоему худосочному юнцу, которому врач прописал морской воздух и моцион.

«Морской воздух! – воскликнул мой шурин, с нежностью вкладывая билет ему в руку. – Ого, да вы будете им сыты по горло на всю жизнь. А что касается моциона, то, сидя на палубе корабля, вы получите больше моциона, чем если бы ходили колесом по берегу».

Он сам – мой шурин – вернулся поездом. Он объяснил, что Северо-Западная железная дорога достаточно полезна для его здоровья.

Другой мой знакомый отправился в недельную прогулку вдоль побережья. Перед отплытием к нему подошел стюард и спросил, будет ли он расплачиваться за каждый обед отдельно или сразу оплатит стол за все дни.

Стюард посоветовал второй способ, как более выгодный. Он сказал, что питание на всю неделю обойдется в два фунта пять шиллингов. Он сказал, что на завтрак подают рыбу и жареное мясо. Ленч бывает в час и состоит из четырех блюд. В шесть часов – обед: суп, entree,[4] жаркое, дичь, салат, сладкое, сыр и фрукты. И наконец, в десять часов – легкий ужин из нескольких мясных блюд.

Мой приятель решил, что эта сорокапятишиллинговая сделка ему подходит (он любитель покушать), и выложил деньги.

Ленч подали, когда судно только что отошло от Ширнесса. Мой приятель проголодался меньше, чем ожидал, и ограничился куском вареного мяса и земляникой со сливками. После ленча он довольно долго предавался размышлениям, и ему то казалось, что он уже с неделю не ел ничего другого, кроме вареного мяса, то – что он последние годы прожил на одной землянике со сливками.

Равным образом ни мясо, ни земляника со сливками не были в восторге – наоборот, им явно не хотелось оставаться там, куда они попали.

В шесть часов его позвали обедать. Он встретил приглашение без всякого энтузиазма, но воспоминания об уплаченных сорока пяти шиллингах пробудили в нем чувство долга, и он, держась за канаты и прочее, спустился по трапу. Внизу его встретило аппетитное благоухание лука и горячей ветчины, смешанное с ароматом овощей и жареной рыбы. Тут к нему подскочил стюард и спросил со сладкой улыбкой:

«Что вы пожелаете выбрать к обеду, сэр?»

«Лучше помогите мне выбраться отсюда», – чуть слышно прошептал он.

Его поспешно вытащили на палубу, прислонили к подветренному борту и оставили в одиночестве.

В продолжение следующих четырех дней он жил простой и безгрешной жизнью, питаясь сухариками и содовой водой, но к субботе он воспрянул духом и отважился на чашку слабого чая с ломтиком поджаренного хлеба. А в понедельник он уже уписывал за обе щеки куриный бульон. Он сошел на берег во вторник и с грустью смотрел, как пароход отваливает от пристани.

«Вот он и уходит! – промолвил мой приятель. – Вот он и уходит, а с ним и сорокашиллинговый запас провизии, который принадлежит мне по праву, но который мне не достался».

Он говорил, что, если бы ему добавили еще только один день, он сумел бы наверстать упущенное.



Итак, я решительно воспротивился прогулке по морю. Дело не в том, объяснил я, что мне страшно за себя. У меня никогда не было морской болезни. Но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что он в себе уверен и ничего бы не имел против прогулки по морю. Но он не советует Гаррису и мне даже думать об этом, так как не сомневается, что мы оба заболеем. Гаррис сказал, что лично для него всегда было загадкой, как это люди ухитряются страдать морской болезнью, Что все это сплошное притворство, что он часто хотел тоже заболеть, но ему так и не удалось.

Потом он стал рассказывать нам истории о том, как он пересекал Ла-Манш в такой шторм, что пассажиров пришлось привязывать к койкам, и только два человека на борту – он сам и капитан корабля – устояли против морской болезни. Иногда теми, кто устоял против морской болезни, оказывались он сам и второй помощник, но неизменно это был он сам и кто-то другой. Если же это были не он сам плюс кто-то другой, то это был он один.

Странная вещь: людей, подверженных морской болезни, вообще не бывает… на суше. В море вы встречаете этих несчастных на каждом шагу, на пароходе их хоть отбавляй. Но на твердой земле мне еще ни разу не попадался человек, который знал бы, что значит болеть морской болезнью. Просто диву даешься: куда исчезают, сойдя на берег, те тысячи и тысячи страдальцев, которыми кишмя кишит любое судно.

Я мог бы легко объяснить эту загадку, если бы люди в большинстве своем были похожи на одного молодчика, которого я видел на пароходе, шедшем в Ярмут. Помню, мы только-только отвалили от Саутэндской пристани, как я заметил, что он с опасностью для жизни перегнулся через борт. Я поспешил ему на помощь.

«Эй! Поосторожней! – сказал я, тряся его за плечо. – Этак вы можете оказаться за бортом».

«О господи! Там хуже не будет!» – Вот все, что мне удалось из него выжать. С тем мне и пришлось его оставить.

Три недели спустя я встретился с ним в Бате в ресторане гостиницы, где он рассказывал о своих путешествиях и с жаром распространялся о своей любви к морю.

«Как я переношу качку? – воскликнул он в ответ на вопрос робкого молодого человека, смотревшего на него с восхищением. – Признаться, *однажды* меня слегка мутило. Это было у мыса Горн.[5] Наутро судно потерпело крушение».

Я сказал:

«Простите, это не вас тошнило на Саутэндском рейде? Вы еще тогда мечтали очутиться за бортом».

«На Саутэндском рейде?» – переспросил он с озадаченным видом.

«Да, да, на пути в Ярмут, в пятницу, три недели тому назад».

«Ах, тогда! – ответил он, просияв. – Да, вспомнил. У меня была отчаянная мигрень. И все из-за пикулей. Вот мерзкие были пикули! Не понимаю, как такую гадость могли подавать на приличном пароходе. А вы их не пробовали?»

Что касается меня, то я нашел превосходное средство против морской болезни: нужно просто сохранять равновесие. Вы становитесь в центре палубы и, в соответствии с корабельной качкой, балансируете так, чтобы ваше тело все время находилось в вертикальном положении. Когда нос корабля задирается вверх, вы наклоняетесь вперед, почти касаясь лбом палубы, а когда поднимается корма, вы откидываетесь назад. Это отлично помогает час-другой. Но попробуйте таким образом сохранять равновесие целую неделю!

Джордж сказал:

– Давайте махнем на лодке вверх по реке.

Он сказал, что нам будут обеспечены свежий воздух, физический труд и душевный покой, непрерывная смена пейзажа займет наш ум (включая и то, что известно под этим именем у Гарриса), а здоровая усталость будет содействовать возбуждению аппетита и улучшит сон.

Гаррис сказал, что Джорджу едва ли следует предпринимать что-либо для улучшения сна, – это опасно. Он сказал, что, поскольку в сутках всего двадцать четыре часа как зимой, так и летом, он не представляет себе, каким образом Джордж собирается спать больше, чем в настоящее время; он высказал мнение, что, если Джордж решил спать больше, он мог бы с тем же успехом почить навеки, чтобы не тратиться по крайней мере на стол и квартиру.

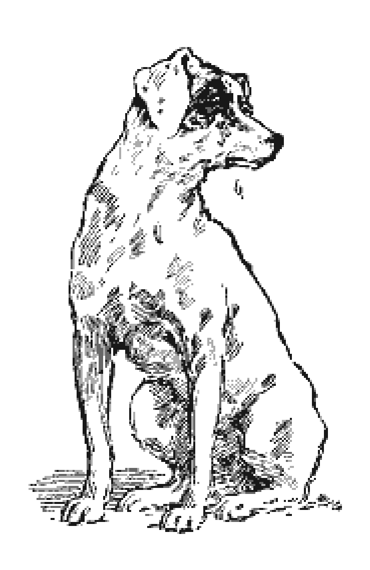
Гаррис добавил, что тем не менее предложение относительно реки «попадает в точку». Я не совсем понимаю, почему «в точку» (разве только речь идет о том, чтобы отдать в точку несколько тупые остроты Гарриса), но, видимо, это выражение имеет одобрительный смысл.

Я подтвердил, что река «попадает в точку», и мы с Гаррисом согласились, что Джорджу пришла в голову удачная мысль. Мы это высказали тоном, в котором сквозило некоторое удивление, что Джордж оказался столь сообразительным.

Единственный, кто не пришел в восторг от такого предложения, был Монморанси. Лично его река никогда не прельщала.

«Для вас, ребята, все это превосходно, – сказал он, – вам эта штука по душе, а мне – нет. Мне там нечего делать. Я не любитель пейзажей и не курю. Если я замечу крысу, то вы из-за меня не станете причаливать к берегу, а если я задремлю, вы еще, чего доброго, натворите глупостей и вывалите меня за борт. С моей точки зрения, это идиотская затея».

Однако нас было трое против одного, и большинством голосов предложение было принято.



Глава II

Обсуждение плана. – Прелесть ночевки под открытым небом в хорошую погоду. – То же – в плохую. – Мы приходим к компромиссу. – Монморанси, его первые шаги и мои впечатления. – Возникает опасение, не слишком ли он хорош для сего мира. – Опасение рассеивается, как лишенное оснований. – Заседание откладывается.

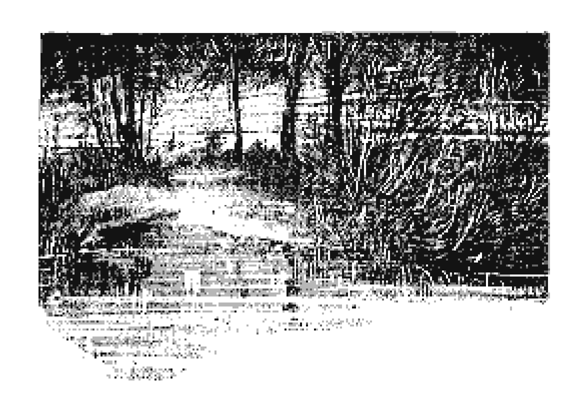
Мы разложили карту и начали обсуждать план дальнейших действий.

Было решено, что мы отплываем в ближайшую субботу из Кингстона. Гаррис и я выедем туда утром и поднимемся в лодке до Чертей, где к нам присоединится Джордж, которого служебные обязанности удерживали в Сити до середины дня (Джордж спит в каком-то банке с десяти до четырех каждый день, кроме субботы – когда его будят и выставляют за дверь уже в два часа).

Но где мы будем ночевать: под открытым небом или в гостиницах?

Джордж и я стояли за ночевки на воздухе. Это так первобытно, говорили мы, так привольно, так патриархально.

В недрах грустных, остывающих облаков медленно тают золотые воспоминания об умершем солнце. Уже не слышно щебетанья птичек: они примолкли, словно огорченные дети. И только жалобный зов куропатки да скрипучий крик коростеля нарушают благоговейную тишину над лоном вод, где, чуть слышно вздохнув, почиет день.



Преследуя отступающие блики света, призрачное воинство Ночи – темные тени – безмолвно надвигается с берегов реки, из подернутых вечерним туманом лесов, незримой поступью движется оно по прибрежной осоке, пробирается сквозь заросли камыша. И над погружающимся во мглу миром простирает черные крылья Ночь, восходящая на мрачный трон в озаренном мерцанием бледных звезд призрачном своем дворце, откуда она правит миром.

И тогда мы причаливаем нашу лодку в какой-нибудь тихой заводи, и вот уже поставлена палатка, а скромный ужин приготовлен и съеден. И вот набиты и закурены длинные трубки, и идет вполголоса дружеская беседа, а когда она прерывается, река плещется вокруг лодки и нашептывает нам свои старые-старые сказки, и выбалтывает нам свои удивительные тайны, и тихонько мурлычет свою извечную детскую песенку, которую поет уже много тысяч лет и будет петь еще много тысяч лет, прежде чем ее голос сделается грубым и хриплым, – песенку, которая нам, научившимся любить изменчивый лик реки, нежно и доверчиво прильнувшим к ее мягкой груди, кажется такой понятной, хотя мы и не смогли бы словами пересказать то, что слышим.

И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия. И мы смотрим, как струятся неумолчные воды, несущиеся навстречу своему повелителю-океану, – смотрим до тех пор, пока не замирает наша болтовня, не гаснут трубки, пока мы, в общем довольно заурядные и прозаические молодые люди, не погружаемся в печальные и в то же время отрадные думы, которым не нужны слова, – пока, неожиданно рассмеявшись, мы не встаем, чтобы выколотить трубки, пожелать друг другу доброй ночи, и не засыпаем под безмолвными звездами, убаюканные плеском волн и шелестом листвы. И нам снится, что земля стала снова юной-юной и нежной, какой она была до того, как столетия забот и страданий избороздили морщинами ее ясное чело, а грехи и безрассудства ее сынов состарили любящее сердце, – нежной, как и в те далекие дни, когда она, молодая мать, баюкала нас, своих детей, на могучей груди, когда дешевые побрякушки цивилизации не вырвали еще нас из ее объятий, когда человечество еще не было отравлено ядом насмешливого скептицизма и не стыдилось простоты своей жизни, простоты и величия обители своей – матери-земли.

Гаррис сказал:

– А что, если пойдет дождь?

Вам никогда не удастся оторвать Гарриса от прозы жизни. В нем нет никакого порыва, нет безотчетного томления по недосягаемому идеалу. Гаррис не способен «плакать, сам не зная о чем». Если на глазах Гарриса слезы, вы можете смело биться об заклад, что он только что наелся сырого луку или свою отбивную котлету чересчур жирно намазал горчицей.

Окажитесь как-нибудь ночью вдвоем с Гаррисом на берегу моря и воскликните:

«Чу! Слышишь? Не пенье ли русалок звучит среди гула вздымающихся валов? Или то печальные духи поют погребальную песнь над бледными утопленниками, покоящимися в гуще водорослей?»



И Гаррис возьмет вас под руку и ответит:

«Я знаю, что это такое, старина: тебя где-то продуло. Пойдем-ка, тут есть одно местечко за углом. Там тебе дадут глоток такого славного шотландского виски, какого ты отродясь не пробовал, – и все будет в порядке».

Гаррис всегда знает одно местечко за углом, где вы можете получить нечто исключительное по части выпивки. Я убежден, что если вы повстречаетесь с Гаррисом в раю (допустим, что это возможно), то он немедленно обратится к вам с нижеследующим приветствием:

«Чертовски рад, что и ты здесь, старина! Я нашел тут за углом одно местечко, где можно хлебнуть стаканчик-другой первоклассного нектара».

Тем не менее надо отдать ему справедливость, что в данном случае, то есть по отношению к идее ночлега под открытым небом, его практическое замечание было вполне уместно. Ночевать под открытым небом в дождливую погоду не так уж приятно.

Наступает вечер. Вы промокли насквозь, в лодке воды по щиколотку, и все ваши вещи отсырели. Вы облюбовали на берегу клочок, где поменьше луж, причалили, выволокли палатку из лодки, и двое из вас начинают ее устанавливать. Она намокла и стала тяжелой, ее полы хлопают по ветру, и она валится на вас и облепляет вам голову, и вы сатанеете. А дождь рее льет и льет. Не так-то просто установить палатку даже в хорошую погоду, в дождь этот труд по плечу разве лишь Геркулесу.

Без сомнения, ваш товарищ, вместо того чтобы помогать вам, попросту валяет дурака. Только-только вам удалось закрепить свой край палатки, как он дергает с другой стороны, и все ваши старания идут насмарку.

«Эй! Что ты там делаешь!» – окликаете вы его.

«А *ты* что делаешь? – кричит он в ответ. – Не можешь отпустить, что ли?»

«Не тяни, осел! Ты же все своротил!» – орете вы.

«Ничего я не своротил! – вопит он. – Отпусти свой край!»

«А я тебе говорю, что ты все своротил!» – рычите вы, мечтая добраться до него; и вы дергаете веревку с такой силой, что вылетают все вбитые им колышки.

«Ах, проклятый идиот!» – бормочет он себе под нос, за этим следует свирепый рывок, и ваш край срывается ко всем чертям. Вы бросаете молоток и направляетесь к партнеру, чтобы высказать ему все, что вы думаете, а он направляется к вам с другой стороны, чтобы изложить вам свои взгляды. И вы гоняетесь друг за другом вокруг палатки, изрыгая проклятия, пока все сооружение не рушится наземь бесформенной грудой и не дает вам возможность увидеть друг друга поверх руин, и вы с негодованием восклицаете в один голос:

«Ну вот! Что я тебе говорил?»

Тем временем третий, который вычерпывает воду из лодки, наливая ее главным образом себе в рукава, и чертыхается про себя без передышки в течение последних десяти минут, осведомляется, какого-растакого дьявола вы там канителитесь и почему, черт побери, треклятая палатка еще не поставлена.

В конце концов палатка кое-как установлена, и вы втаскиваете в нее пожитки. Поскольку бесполезно пытаться развести костер, вы зажигаете спиртовку и теснитесь вокруг нее.

В меню вашего ужина основным блюдом является дождевая вода. Хлеб состоит из нее на две трети, мясной пирог насыщен ею до отказа; что же касается варенья, масла, соли и кофе, то они, перемешавшись с дождевой водой, очевидно вознамерились создать какой-то невиданный суп.

После ужина вы убеждаетесь, что табак отсырел и раскурить трубку невозможно. К счастью, вы захватили с собой бутылку снадобья, изрядная доза которого, поднимая бодрость духа и туманя рассудок, придает земному существованию достаточную привлекательность, чтобы заставить вас лечь спать.

Потом вам снится, что вам на грудь уселся слон и что началось извержение вулкана, которое сбросило вас на морское дно, – причем, однако, слон продолжает мирно покоиться на вашей груди. Вы просыпаетесь и понимаете, что действительно произошло нечто ужасное. Сначала вам кажется, будто наступил конец света, но тут же вы соображаете, что это невозможно и, стало быть, это грабители и убийцы или, в лучшем случае, пожар. Результаты своего умозаключения вы доводите до всеобщего сведения обычным в таких случаях способом. Однако никто не приходит на помощь, и вам ясно только одно: вас топчет многотысячная толпа и из вас вышибают дух.

Кажется, кому-то еще, кроме вас, приходится туго: из-под вашей постели доносятся сдавленные стоны. Решив, что бы там ни было, дорого продать свою жизнь, вы бросаетесь очертя голову в схватку, нанося без разбора удары ногами и руками и издавая неистовые вопли; и в конце концов что-то подается, и вы чувствуете, что ваша голова находится на свежем воздухе. Вы различаете в двух шагах от себя полураздетого бандита, который подстерегает вас, чтобы убить, и вы готовы к борьбе не на жизнь, а на смерть, и вдруг вас осеняет, что это Джим.

«Как, это ты?» – говорит он, тоже внезапно узнавая вас.

«Да, – отвечаете вы, протирая глаза, – что тут творится?»

«Кажется, чертова палатка свалилась, – говорит он. – А где Билл?»

Тут вы оба принимаетесь аукать и кричать: «Билл!» – и почва под вами начинает колебаться, собираться в складки, и полузадушенный, но знакомый голос отвечает откуда-то из развалин:

«Эй, вы, слезете вы когда-нибудь с моей головы?»

И наружу выкарабкивается Билл – покрытый грязью, затоптанный обломок кораблекрушения. Он почему-то очень зол: очевидно, он считает, что все было подстроено.

Утром выясняется, что вы все трое без голоса, так как за ночь зверски простудились; кроме того, вы очень раздражительны и в продолжение всего завтрака переругиваетесь хриплым шепотом.

В конце концов мы решили, что в ясные ночи будем спать под открытым небом, а в плохую погоду или когда нам захочется разнообразия, будем, как порядочные люди, останавливаться в отелях, в гостиницах и на постоялых дворах.

Монморанси безоговорочно одобрил такой компромисс. Романтическое одиночество не его стихия. Ему подайте что-нибудь этакое, с шумом, и если это даже чуточку в дурном вкусе, то тем веселее.

Посмотреть на Монморанси, так он просто ангел во плоти, по каким-то причинам, оставшимся тайной для человечества, принявший образ маленького фокстерьера. Он всегда сохраняет выражение «ах-как-плох-сей-мир – и – как-я-хотел-бы-сделать-его-лучше-и-благороднее», которое вызывает слезы у благочестивых старых леди и джентльменов.

Когда он впервые перешел на мое иждивение, я и не надеялся, что мне выпадет счастье долго наслаждаться его обществом. Бывало, я сидел в кресле и смотрел на него сверху вниз, а он лежал на коврике и смотрел на меня снизу вверх, и в голове у меня была одна мысль: «Этот щенок не жилец на белом свете. Он будет вознесен на небеса в сияющей колеснице. Этого не миновать».

Но после того как мне пришлось уплатить за десятка два умерщвленных им цыплят; после того как мне привелось его, рычащего и брыкающегося, сто четырнадцать раз вытаскивать за загривок из уличных драк; после того как некая разъяренная особа женского пола принесла мне на освидетельствование задушенную кошку, заклеймив меня именем убийцы; после того как сосед подал на меня в суд за то, что я не держу на привязи свирепого пса, из-за которого однажды морозным вечером он целых два часа просидел в холодном сарае, не смея оттуда высунуть носа; после того как я узнал, что мой же садовник, тайком от меня, выиграл пари в тридцать шиллингов, поспорив о том, сколько крыс моя собака задавит в определенный срок, – я начал думать, что, может быть, все-таки ее вознесение на небеса несколько задержится.

Околачиваться возле конюшен, собирать вокруг себя шайку собак, пользующихся самой дурной славой, и водить их за собой по всяким трущобам, чтобы затевать бои с другими собаками, имеющими не менее сомнительную репутацию, – это, по мнению Монморанси, и называется «жить по-настоящему», а потому, как я уже выше заметил, предложение о гостиницах и постоялых дворах он поддержал с жаром.

Таким образом, вопрос о ночлеге был разрешен к полному удовольствию всех четверых; оставалось обсудить лишь одно – что мы возьмем с собой. Но только мы начали толковать об этом, как Гаррис заявил, что на сегодня с него хватит прений, и предложил выйти на улицу и опрокинуть стаканчик; он сказал, что знает одно местечко за углом, где мы раздобудем по глотку неплохого ирландского.

Джордж сказал, что его мучит жажда (я не помню, чтобы она хоть когда-нибудь не мучила Джорджа), и так как у меня появилось смутное предчувствие, что капля-другая подогретого виски с ломтиком лимона может оказаться полезной при моем болезненном состоянии, продолжение дискуссии было по общему согласию перенесено на следующий вечер. Мы надели шляпы и вышли на улицу.



Глава III

Организационные вопросы. – Метод работы Гарриса. – Как немолодой отец семейства вешает картину. – Джордж делает мудрое замечание. – Прелести утреннего купанья. – Запасы на случай, если лодка перевернется.

Итак, мы собрались опять на следующий вечер, чтобы окончательно обсудить наши планы. Гаррис сказал:

– Прежде всего мы должны договориться о том, что брать с собой. Джей,[6] возьми-ка лист бумаги и записывай; ты, Джордж, раздобудь прейскурант продуктовой лавки, и пусть кто-нибудь даст мне карандаш – я составлю список.

В этом – весь Гаррис: он охотно берет самое тяжелое бремя и безропотно взваливает его на чужие плечи.

Он всегда приводит мне на память моего бедного дядюшку Поджера. Ручаюсь, что вы в жизни не видывали такой кутерьмы, какая поднималась в доме, когда дядя Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству. Привозят, например, от столяра картину в новой раме и, пока ее не повесили, прислоняют к стене в столовой; тетушка Поджер спрашивает, что с ней делать, и дядюшка Поджер говорит:

«Ну, это уж предоставьте мне! Пусть никто, слышите – никто, об этом не беспокоится. Я все сделаю сам!»

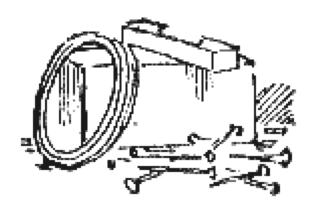
Тут он снимает пиджак и принимается за работу.

Он посылает горничную купить на шесть пенсов гвоздей, а за нею следом – одного из мальчиков, чтобы передать ей, какого размера должны быть гвозди. С этого момента он берется за дело всерьез и не успокаивается, пока не ставит на ноги весь дом.



«Ну-ка, Уилл, разыщи молоток! – кричит он. – Том, тащи линейку. Дайте-ка сюда стремянку, а лучше всего заодно и стул. Эй, Джим! Сбегай к мистеру Гоглзу и скажи ему: папа, мол, вам кланяется и спрашивает, как ваша нога, и просит вас одолжить ему ватерпас. А ты, Мария, никуда не уходи: надо, чтобы кто-нибудь мне посветил. Когда вернется горничная,

пусть она снова сбегает и купит моток шнура. А Том – где же Том? – иди-ка сюда, Том, ты подашь мне картину».



Тут он поднимает картину и роняет ее, и она вылетает из рамы, и он пытается спасти стекло, порезав при этом руку, и начинает метаться по комнате в поисках своего носового платка. Носового платка найти он не может, потому что носовой платок – в кармане пиджака, который он снял, а куда девался пиджак, он не помнит, и все домашние должны оставить поиски инструментов и приняться за поиски пиджака, в то время как сам герой пляшет по комнате и путается у всех под ногами.

«Неужели никто во всем доме не знает, где мой пиджак? Честное слово, в жизни не встречал такого сборища ротозеев! Вас тут шестеро – и вы не можете найти пиджак, который я снял всего пять минут назад! Ну и ну!»

Тут он встает со стула, замечает, что сидел на пиджаке, и провозглашает:

«Ладно, хватит вам суетиться! Я сам его нашел. Нечего было и связываться с вами, я с тем же успехом мог бы поручить поиски нашему коту».

Но вот через каких-нибудь полчаса перевязан палец, добыто новое стекло, принесены инструменты, и стремянка, и стул, и свечи, – и дядюшка снова принимается за дело, между тем как все семейство, включая горничную и поденщицу, выстраивается полукругом, готовое броситься на помощь. Двоим поручается держать стул, третий помогает дяде влезть и поддерживает его, а четвертый подает ему гвозди, а пятый протягивает ему молоток, и дядя берет гвоздь и роняет его.

«Ну вот! – говорит он оскорбленным тоном, – теперь потерялся гвоздь».

И всем нам не остается ничего другого, как опуститься на колени и ползать в поисках гвоздя, в то время как дядя Поджер стоит на стуле и ворчит и язвительно осведомляется, не собираемся ли мы продержать его так до поздней ночи.

Наконец гвоздь найден, но тут оказывается, что исчез молоток.

«Где молоток? Куда я подевал молоток? Господи боже мой! Семеро олухов глазеет по сторонам, и никто не видел, куда я дел молоток!»

Мы находим молоток, но тут оказывается, что дядя потерял отметку, сделанную на стене в том месте, куда надо вбить гвоздь, и мы по очереди взбираемся на стул рядом с ним, чтобы помочь ему найти отметку. Каждый находит ее в другом месте, и дядюшка Поджер обзывает нас всех по очереди болванами и сгоняет со стула. Он берет линейку и начинает все измерять заново, и оказывается, что ему нужно разделить расстояние в тридцать один и три восьмых дюйма пополам, и он пытается делить в уме, и у него заходит ум за разум.

И каждый из нас пытается делить в уме, и у всех получаются разные ответы, и мы издеваемся друг над другом. И в перебранке мы забываем делимое, и дядюшке Поджеру приходится мерить снова.

Теперь он пытается это сделать с помощью шнура, и в самый ответственный момент, когда этот старый дурень наклоняется под углом в сорок пять градусов к плоскости стула, пытаясь дотянуться до точки, расположенной ровно на три дюйма дальше, чем та, до какой он может дотянуться, шнур соскальзывает – и он обрушивается на фортепиано, причем внезапность, с

которой его голова и все тело в одно и то же мгновение соприкасаются с клавиатурой, производит неповторимый музыкальный эффект.

И тетушка Мария говорит, что она не может допустить, чтобы дети оставались тут и слушали такие выражения.

Но вот дядюшка Поджер делает наконец нужную отметку, и левой рукой наставляет на нее гвоздь, и берет молоток в правую руку. И первым ударом он расшибает себе большой палец и с воплем роняет молоток кому-то на ногу.

Тетушка Мария кротко выражает надежду, что в следующий раз, когда дядя Поджер надумает вбивать гвоздь в стену, он предупредит ее заблаговременно, чтобы она могла уложиться и съездить на недельку, пока это происходит, в гости к своей матери.

«Уж эти женщины! Они вечно подымают шум из-за ерунды! – отвечает дядюшка Поджер, с трудом поднимаясь на ноги. – А мне вот по душе такие дела. Приятно изредка поработать руками».



И тут он делает новую попытку, и при втором ударе весь гвоздь и половина молотка в придачу уходят в штукатурку, и дядю Поджера по инерции бросает к стене с такой силой, что его нос чуть не превращается в лепешку.

А нам приходится снова искать линейку и веревку, и на стене появляется новая дыра; и к полуночи картина водружена на место (правда, очень криво и ненадежно), и стена на несколько ярдов вокруг выглядит так, будто по ней палили картечью, и все в доме издерганы и валятся с ног… все, кроме дядюшки Поджера.

«Ну вот и все! – говорит он, грузно спрыгивая со стула прямо на мозоль поденщицы и с гордостью взирая на произведенный им разгром. – Ну вот! А другой на моем месте еще вздумал бы кого-нибудь нанимать для такого пустяка».

Когда Гаррис достигнет почтенного возраста, он будет точь-в-точь как дядюшка Поджер, я так ему и сказал. Я добавил, что не допущу, чтобы он взваливал на себя так много работы.

Я сказал:

– Нет, уж лучше ты раздобудь бумагу, карандаш и прейскурант и пусть Джордж записывает, а я буду все делать.

Первый вариант составленного нами списка пришлось забраковать. Несомненно, Темза в своем верхнем течении недостаточно судоходна и по ней не сможет подняться судно, которое вместит все, что мы сочли необходимым взять с собой в путешествие. Мы разорвали список и озадаченно посмотрели друг на друга.

Джордж сказал:

– Так ничего не выйдет. Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не сможем обойтись.

Джорджу иногда приходят в голову дельные мысли. Просто удивительно! Эта его мысль, несомненно, была мудрой – причем не только по отношению к данному случаю, но и по отношению ко всему нашему странствию по реке жизни. Сколько людей, плывущих по этой реке, рискует затопить свои ладьи, перегружая их всяким нелепым скарбом, который, как им думается, сделает путешествие приятным и удобным, а на самом деле оказывается просто-напросто ненужным хламом.

Чем только не нагружают они свое утлое суденышко, заваливая его до самой верхушки мачты! Тут и нарядное платье и огромные дома; бесполезные слуги и толпы светских знакомых, которые ценят вас не дороже двух пенсов и за которых вы не дадите и полутора; пышные приемы с их смертной тоской; предрассудки и моды, тщеславие и притворство, и – самый громоздкий и бессмысленный хлам! – опасение, что о вас подумает ваш сосед; тут роскошь, вызывающая только пресыщение; удовольствия, набивающие оскомину; показная красота, подобная тому железному венцу, который в древние времена надевали на преступника и от которого нестерпимо болела и кровоточила голова.

Все это хлам, старина! Выбрось его за борт! Он делает твою ладью такой тяжелой, что ты надрываешься, сидя на веслах. Он делает ее такой неповоротливой и неустойчивой, что у тебя нет ни минуты покоя, ни минуты отдыха, которую ты мог бы посвятить мечтательной праздности; тебе некогда взглянуть ни на легкую рябь, скользящую по отмели, ни на солнечных зайчиков, прыгающих по воде, ни на могучие деревья, глядящие с берегов на свое отражение, ни на зеленые и золотые дубравы, ни на волнующийся под ветром камыш, ни на осоку, ни на папоротник, ни на голубые незабудки.

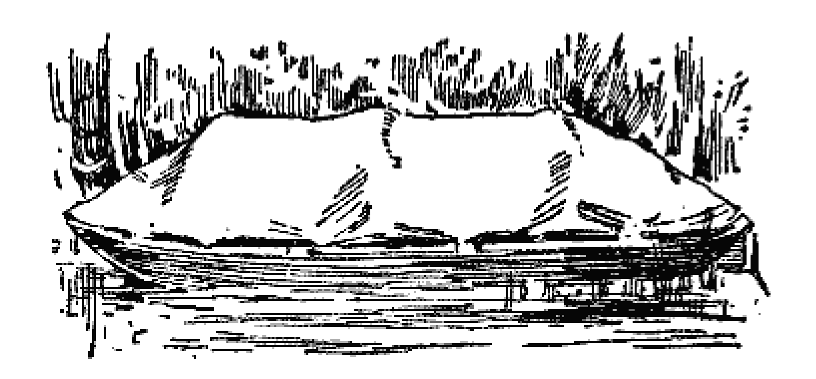
Выбрось этот хлам за борт, старина! Пусть будет легка ладья твоей жизни, возьми в нее только самое необходимое: уютное жилище и скромные радости; ту, которая тебя любит и которая тебе дороже всех; двух-трех друзей, достойных называться друзьями; кошку и собаку; одну-две трубки; вдоволь еды и вдоволь одежды и немножко больше, чем вдоволь, питья, ибо жажда – страшная вещь.

И ты увидишь тогда, что ладья твоя поплывет легче, что ей почти не грозит опасность перевернуться, да и не беда, если она перевернется: нехитрый, добротный груз ее не боится воды. Тебе хватит времени и на размышление, и на труд, и на то, чтобы насладиться солнечным светом жизни, и на то, чтобы слушать, затаив дыхание, Эолову гармонию, которую посланный богом ветерок извлекает из струн человеческого сердца, и на то, чтобы…

Прошу прощения, я отвлекся.

Итак, мы поручили составление списка Джорджу, и он приступил к делу.

– Обойдемся без палатки, – сказал Джордж. – Лучше возьмем лодку с тентом. Это проще и удобнее.

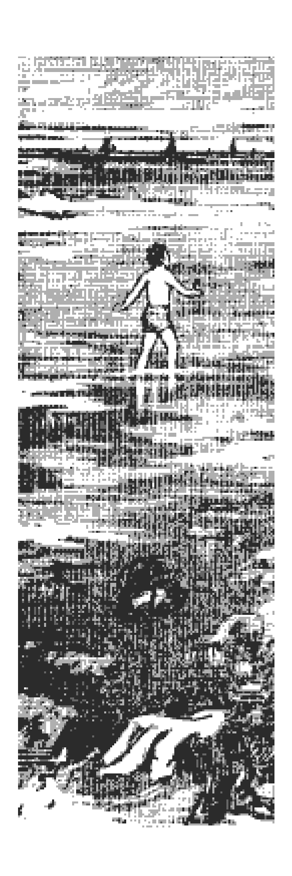


Мысль показалась удачной, и мы ее одобрили. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь такую вещь. Вы укрепляете над лодкой железные дуги и натягиваете на них большой брезент, прикрепляя его к бортам лодки от носа до кормы, и лодка превращается в своеобразный домик, и в нем очень уютно, хотя и чуточку душно, но что поделаешь, все на свете имеет свою оборотную сторону, как сказал один человек, когда у него умерла теща и пришлось раскошелиться на похороны.

Джордж сказал, что в таком случае нам достаточно будет взять: пледы (по одному на каждого), фонарь, кусок мыла, щетку, гребенку (одну на всех), зубные щетки (на каждого отдельно), таз, зубной порошок, бритвенный прибор (не правда ли, это похоже на урок иностранного языка) и штуки две купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают грандиозные приготовления, когда собираются ехать куда-нибудь поближе к воде, но что они не так уж много купаются, когда приезжают на место.

То же самое получается, когда едешь на морские купания. Обдумывая поездку в Лондоне, я всегда твердо решаю, что буду вставать рано утром и купаться до завтрака, и я благоговейно укладываю в чемодан трусики и купальное полотенце. Я всегда беру с собой красные трусики. В – красных трусиках я себе очень нравлюсь. Они мне очень идут.

Но стоит мне приехать на побережье, и я чувствую, что меня не так тянет к утреннему купанью, как тянуло, когда я был в городе. Наоборот, я скорее чувствую, что меня тянет валяться в постели до последней минуты, а потом сразу спускаться к завтраку. Однажды добродетель все-таки берет верх, и я встаю ни свет ни заря, и кое-как одеваюсь, и беру трусики и полотенце, и мрачно плетусь к морю. Но оно меня не радует. Словно кто-то нарочно приберегает для меня особенно пронизывающий восточный ветер, и выкапывает все острые камни, и кладет их сверху, и затачивает выступы скал, и слегка присыпает их песочком, чтобы я не мог их разглядеть, а потом берет и переносит море куда-то дальше. И вот я должен, дрожа от холода и обхватив плечи руками, прыгать по щиколотку в воде добрых две мили. А когда я добираюсь до моря, то встреча оказывается бурной и в высшей степени оскорбительной.



Огромная волна хватает меня и швыряет так, что я с размаху сажусь на каменную глыбу, которая подложена тут специально для меня. И, прежде чем я успеваю вскрикнуть «ох!» и сообразить, что случилось, налетает новая волна и выносит меня в открытый океан. Я начинаю отчаянно барахтаться, стремясь выплыть к берегу, и мечтаю увидеть вновь родимый дом и верных друзей, и жалею, что обижал сестренку в мальчишеские годы (я хочу сказать, в мои мальчишеские годы). В ту самую минуту, когда я окончательно прощаюсь со всякой надеждой, волна отступает и оставляет меня распластанным на песке с раскинутыми руками и ногами наподобие морской звезды, и я поднимаюсь, и оглядываюсь, и вижу, что боролся за свою жизнь над бездонной пучиной глубиною в два фута. Я ковыляю к берегу, и одеваюсь, и плетусь домой, где мне надо изображать, что я в восторге.

И вот теперь, если послушать нас, то можно подумать, что все мы собираемся каждое утро совершать дальние заплывы. Джордж сказал, что приятно проснуться в лодке ранним утром, когда еще свежо, и окунуться в прозрачную реку. Гаррис сказал, что купанье до завтрака – незаменимое средство для улучшения аппетита. Он сказал, что у него лично от купанья всегда улучшается аппетит. Джордж заметил, что если Гаррис собирается есть больше, чем всегда, то он, Джордж, вообще возражает против того, чтобы Гаррис купался даже в ванне.

Он сказал, что грести против течения с грузом провианта, необходимым для прокормления Гарриса, и без того каторжная работа.

На это я возразил Джорджу, что зато нам всем будет намного приятнее сидеть в лодке с чистеньким и свеженьким Гаррисом, пусть даже ради этого нам придется взять несколько сот фунтов съестного сверх нормы. И Джордж, рассмотрев дело с моей точки зрения, взял назад свой возражения по поводу купанья Гарриса.

Мы наконец сошлись на том, что захватим три купальных полотенца, чтобы не дожидаться друг друга.

По поводу одежды Джордж сказал, что достаточно взять по два спортивных костюма из белой фланели, а когда они запачкаются, мы их сами выстираем в реке. Мы спросили его, пробовал ли он стирать белую фланель в реке, и он нам ответил:

– Собственно говоря, нет, но у меня есть приятели, которые пробовали и нашли, что это довольно просто.

И мы с Гаррисом имели слабость поверить, что он и в самом деле представляет себе то, о чем говорит, и что три приличных молодых человека, не имеющих видного положения и влияния в обществе и не обладающих опытом в стирке, действительно могут с помощью куска мыла отмыть в водах Темзы свои рубашки и брюки.

Впоследствии нам было суждено узнать – увы, слишком поздно, – что Джордж просто гнусный обманщик и ровным счетом ничего не смыслит в этом деле. Если бы вы увидели нашу одежду после… Но, как пишут в наших бульварных романах, не будем предвосхищать события.

Джордж склонил нас к тому, чтобы взять по смене белья и большой запас носков на тот случай, если лодка перевернется и надо будет переодеваться, а также побольше носовых платков, которые понадобятся для вытирания вещей, и по паре кожаных ботинок, кроме спортивных туфель, – тоже на случай, если мы перевернемся.

Глава IV

Продовольственный вопрос. – Керосин как источник благоухания вызывает осуждение. – Преимущества сыра как, дорожного спутника. – Мать семейства покидает домашний очаг. – Продолжается подготовка на случай, если мы перевернемся. – Я укладываю вещи. – Коварство зубных щеток. – Джордж и Гаррис укладывают вещи. – Ужасные манеры Монморанси. – Мы отправляемся на боковую.

Потом мы стали обсуждать продовольственный вопрос. Джордж сказал:

– Начнем с завтрака. (Джордж – человек методичный.) Так вот, к завтраку нам нужна сковородка… – Тут Гаррис возразил, что она неудобоварима, но мы попросту предложили ему не прикидываться идиотом, и Джордж продолжал: – Чайник для кипятка, чайник для заварки и спиртовка.

– Но ни капли керосина, – многозначительно сказал Джордж. Гаррис и я согласились.

Однажды мы захватили в дорогу керосинку, но это было в первый и последний раз. Целую неделю мы провели словно в керосиновой лавке. Керосин просачивался. Я не знаю, что еще обладает такой способностью просачиваться, как керосин; Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав по пути всю лодку и ее содержимое, и расплылся по реке, и въелся в пейзаж, и отравил воздух. Дул то западно-керосиновый ветер, то восточно-керосиновый ветер, то северо-керосиновый ветер, то юго-керосиновый ветер; но приходил ли он с ледяных просторов Арктики или зарождался в знойных песках пустынь, он был одинаково насыщен благоуханием керосина.

И керосин просачивался до самого неба и губил солнечные закаты, а лунный свет положительно провонял керосином.

В Марло мы попытались отделаться от него. Мы оставили лодку у моста и попробовали удрать от него пешком на другой конец города, но он последовал за нами. Город был насыщен керосином. Мы зашли на кладбище, и нам показалось, что здесь покойников хоронят в керосине. На Хай-стрит воняло керосином. «Как только люди могут здесь жить!» – думали мы. И мы шагали милю за милей по бирмингамской дороге, но толку от этого не было никакого: вся местность была пропитана керосином.

Когда закончилась эта поездка, мы назначили встречу в полночь на заколдованном месте под чертовым дубом и поклялись страшной клятвой (мы целую неделю божились и чертыхались по поводу керосина самым заурядным обывательским образом, но для такого

экстраординарного случая этого было недостаточно); – мы поклялись страшной клятвой никогда не брать с собой в лодку керосина, разве только от блох.

Итак, мы решили на сей раз удовольствоваться денатурированным спиртом. Это тоже порядочная гадость. Приходится есть денатурированный пирог и денатурированное печенье. Но для принятия внутрь в значительных дозах денатурат более полезен, чем керосин.

Что касается других элементов, составляющих завтрак, то Джордж предложил яйца и ветчину, которые легко приготовить, холодное мясо, чай, хлеб, масло и варенье – но *ни крошки* сыра. Сыр, как и керосин, слишком много о себе воображает. И он, видите ли, желает заполнить собой всю лодку. Он становится хозяином положения в корзине с провизией и придает запах сыра всему ее содержимому. Вы не можете сказать в точности, едите вы яблочный пирог, или сосиски с капустой, или клубнику со сливками. Все это кажется сыром. Сыр очень уж силен по части благоухания.

Как-то раз один из моих друзей купил в Ливерпуле несколько головок сыра. Это был изумительный сыр, острый и со слезой, а его аромат мощностью в двести лошадиных сил действовал с ручательством в радиусе трех миль и валил человека с ног на расстоянии двухсот ярдов. Я как раз оказался в Ливерпуле, и мой друг, который должен был остаться там еще дня на два, спросил, не соглашусь ли я захватить этот сыр в Лондон.

«С удовольствием, дружище, – ответил я, – с удовольствием!»

Мне принесли сыр, и я погрузил его в кэб. Это было ветхое сооружение, влекомое беззубым и разбитым на ноги лунатиком, которого его владелец в разговоре со мной, забывшись, назвал лошадью.

Я положил сыр наверх, и мы припустились аллюром, который мог бы сделать честь самому быстрому из существующих паровых катков, и все шло превесело, словно во время похоронной процессии, пока мы не завернули за угол. Тут ветер пахнул ароматом сыра в сторону нашего скакуна. Тот пробудился от транса и, в ужасе всхрапнув, помчался со скоростью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и не успели мы доехать до конца улицы, как наш рысак уже несся во весь опор, развивая скорость до четырех миль в час и без труда оставляя за флагом всех безногих калек и тучных леди.

Чтобы остановить его у вокзала, кучеру потребовалась помощь двух носильщиков. И то им, наверно, это не удалось бы, не догадайся один из них набросить свой платок на ноздри лошади и зажечь обрывок оберточной бумаги.

Я купил билет и гордо прошествовал на платформу со своим сыром, причем люди почтительно расступались перед нами. Поезд был переполнен, и я попал в купе, где уже было семь пассажиров. Какой-то желчный старый джентльмен попытался протестовать, но я все-таки вошел туда и, положив сыр в сетку для вещей, втиснулся с любезной улыбкой на диван и сказал, что сегодня довольно тепло. Прошло несколько минут, и вдруг старый джентльмен начал беспокойно ерзать.

«Здесь очень спертый воздух», – сказал он.

«Отчаянно спертый», – сказал его сосед.



И тут оба стали принюхиваться и скоро напали на верный след и, не говоря ни слова, встали и вышли из купе. А потом толстая леди поднялась и сказала, что стыдно так издеваться над почтенной замужней женщиной, и вышла, забрав все свои восемь пакетов и чемодан. Четверо оставшихся пассажиров некоторое время держались, пока мужчина, который сидел в углу с торжественным видом и, судя по костюму и по выражению лица, принадлежал к мастерам похоронного дела, не заметил, что это вызывает у него мысли о покойнике. И остальные трое пассажиров попытались пройти в дверь одновременно и стукнулись лбами.

Я улыбнулся черному джентльмену и сказал, что, видно, купе досталось нам двоим, и он в ответ любезно улыбнулся и сказал, что некоторые люди делают из мухи слона. Но когда поезд тронулся, он тоже впал в какое-то странное уныние, а потому, когда мы доехали до Кру, я предложил ему выйти и промочить горло. Он согласился, и мы протолкались в буфет, где нам пришлось вопить, и топать ногами, и призывно размахивать зонтиками примерно с четверть часа; потом к нам подошла молодая особа и спросила, не нужно ли нам чего.

«Что вы будете пить?» – спросил я, обращаясь к своему новому другу.

«Прошу вас, мисс, на полкроны чистого бренди», – сказал он.

Он выпил бренди и тотчас же удрал и перебрался в другое купе, что было уже просто бесчестно.

Начиная от Кру купе было предоставлено полностью в мое распоряжение, хотя поезд был битком набит. На всех станциях публика, видя безлюдное купе, устремлялась к нему. «Мария, сюда! Скорей! Здесь совсем пусто!» – «Давай сюда, Том!» – кричали они. И они бежали по платформе, таща тяжелые чемоданы, и толкались, чтобы скорее занять место. И кто-нибудь первым открывал дверь, и поднимался по ступенькам, и отшатывался, и падал в объятия следующего за ним пассажира; и они входили один за другим, и принюхивались, и вылетали пулей, и втискивались в другие купе или доплачивали, чтобы ехать первым классом.

С Юстонского вокзала я отвез сыр в дом моего друга. Когда его жена переступила порог гостиной, она остановилась, нюхая воздух. Потом она спросила:

«Что это? Не скрывайте от меня ничего».

Я сказал:

«Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил отвезти вам».

И я добавил, что она, надеюсь, понимает, что я тут ни при чем. И она сказала, что она в этом не сомневается, но, когда Том вернется, у нее еще будет с ним разговор.

Мой приятель задержался в Ливерпуле несколько дольше, чем ожидал; и через три дня, когда его все еще не было, меня посетила его жена.

Она сказала:

«Что вам говорил Том насчет этого сыра?»

Я ответил, что он велел держать его в прохладном месте и просил, чтобы никто к нему не притрагивался.

Она сказала:

«Никто и не думает притрагиваться. Том его нюхал?»

Я ответил, что, по-видимому, да, и прибавил, что ему этот сыр как будто пришелся очень по душе.

«А как вы считаете, – осведомилась она, – Том будет очень расстроен, если я дам дворнику соверен, чтобы он забрал этот сыр и закопал его?»

Я ответил, что после такого прискорбного события вряд ли на лице Тома когда-нибудь вновь засияет улыбка.

Вдруг ее осенила мысль. Она сказала:

«Может быть, вы возьметесь сохранить сыр? Я пришлю его к вам».

«Сударыня, – ответил я, – лично мне нравится запах сыра, и поездку с ним из Ливерпуля я всегда буду вспоминать как чудесное завершение приятного отдыха. Но в сем грешном мире мы должны считаться с окружающими. Леди, под чьим кровом я имею честь проживать, – вдова, и к тому же, насколько я могу судить, сирота. Она решительно, я бы даже сказал – красноречиво, возражает против того, чтобы ее, как она говорит, „водили за нос". Мне подсказывает интуиция, что присутствие в ее доме сыра, принадлежащего вашему мужу, она расценит как то, что ее „водят за нос". А я не могу позволить, чтобы обо мне говорили, будто я вожу за нос вдов и сирот».

«Ну что ж, – сказала жена моего приятеля, – видно, мне ничего другого не остается, как взять детей и поселиться в гостинице, пока этот сыр не будет съеден. Я ни одной минуты не стану жить с ним под одной крышей».

Она сдержала слово, оставив дом на попечение поденщицы, которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, переспросила: «Какой запах?», а когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что создавшаяся атмосфера сравнительно безвредна для этой особы, и ее решили оставить при квартире.

За номер в гостинице пришлось заплатить пятнадцать гиней; и мой друг, подведя общий итог, сосчитал, что сыр обошелся ему по восемь шиллингов и шесть пенсов за фунт. Он сказал, что хотя очень любит полакомиться кусочком сыра, но этот ему не по карману; поэтому он решил отделаться от своей покупки. Он бросил сыр в канал, но его пришлось выловить оттуда, потому что лодочники с барж стали жаловаться. У них начались головокружения и обмороки. Тогда мой приятель в одну темную ночь прокрался в приходскую покойницкую и подбросил туда сыр. Но следователь по уголовным делам обнаружил сыр и страшно расшумелся. Он заявил, что под него подкапываются и что кто-то вздумал воскрешать покойников с целью добиться его отставки.

В конце концов моему другу удалось избавиться от сыра, увезя его в один приморский городок и закопав на берегу. Городок тотчас же после этого приобрел большую известность. Приезжие говорили, что никогда раньше не замечали, какой тут здоровый воздух – просто дух захватывает, – и еще многие годы слабогрудые и чахоточные наводняли этот курорт.

Поэтому, хоть я и страстный поклонник сыра, но мне пришлось признать, что Джордж прав, отказываясь брать с собой сыр.

– Пятичасового[7] чая у нас не будет, – сказал Джордж (при этих словах лицо Гарриса омрачилось), – но в семь часов будет знатная, сытная, плотная, роскошная трапеза – обед, чай и ужин сразу.

Гаррис заметно повеселел. Джордж внес в список пирожки с мясом, пирожки с вареньем, жареное мясо, помидоры, фрукты и овощи. Из напитков мы решили взять некий удивительно тягучий состав, изготовляемый Гаррисом, который следовало разбавлять водой и называть после этого лимонадом, большой запас чая и бутылку виски на случай, как сказал Джордж, если лодка перевернется.

Не слишком ли много Джордж толкует о том, что мы перевернемся? Готовиться к путешествию на лодке с таким настроением – последнее дело.

Но все-таки виски нам не помешает.

Мы решили не брать ни вина, ни пива. Взять их в путешествие по реке значило бы совершить ошибку. От них тяжелеешь и впадаешь в сонливость. Стаканчик пива не повредит, когда вы собираетесь пошататься вечером по городу и поглазеть на девушек, но остерегайтесь его, когда солнце припекает голову и вас ждет физическая работа.

Мы расстались в этот вечер только после того, как список всех необходимых вещей был составлен, – а список этот оказался довольно пространным. Следующий день (это была пятница) мы потратили на то, чтобы собрать все нужное в одном месте, а вечером снова встретились и занялись упаковкой. Для одежды мы предназначили большой кожаный саквояж, а для провизии и хозяйственных принадлежностей – две корзины. Мы отодвинули стол к окну, свалили все на пол посреди комнаты, уселись вокруг этой кучи и стали ее критически обозревать. Я сказал, что укладкой займусь сам.

Я горжусь своим умением укладывать вещи. Упаковка – это одно из многих дел, в которых я, несомненно, смыслю больше, чем кто бы то ни было (даже меня самого порой удивляет, как много на свете таких дел). Я внушил эту мысль Джорджу и Гаррису и сказал, что им лучше всего целиком положиться на меня. Они приняли мое предложение с какой-то подозрительной готовностью. Джордж закурил трубку и развалился в кресле, а Гаррис взгромоздил ноги на стол и закурил сигару.

Я, признаться, на это не рассчитывал. Я-то, конечно, имел в виду, что буду направлять работу и давать указания, а Гаррис и Джордж будут у меня подручными, которых мне придется то и дело поправлять и отстранять, делая замечания: «Эх, вы!..», «Дайте-ка уж я сам…», «Смотрите, вот как просто!» – обучая их таким образом этому искусству. Вот почему я был раздражен тем, как они меня поняли. Больше всего меня раздражает, когда кто-нибудь бездельничает, в то время как я тружусь.

Однажды мне пришлось делить кров с приятелем, который буквально приводил меня в бешенство. Он мог часами валяться на диване и следить за мной глазами, в какой бы угол комнаты я ни направлялся. Он говорил, что на него действует поистине благотворно, когда он видит, как я хлопочу. Он говорил, будто лишь в такие минуты он отдает себе отчет в тем, что жизнь вовсе не сон пустой, с которым приходится мириться, зевая и протирая глаза, а благородный подвиг, исполненный неумолимого долга и сурового труда. Он говорил, что не понимает, как мог он до встречи со мной влачить существование, не имея возможности каждодневно любоваться настоящим тружеником.

Но сам я не таков. Я не могу сидеть сложа руки и праздно глядеть, как кто-то работает в поте лица. У меня сразу же появляется потребность встать и начать распоряжаться, и я прохаживаюсь, засунув руки в карманы, и руковожу. Я деятелен по натуре. Тут уж ничего не поделаешь.

Тем не менее я промолчал и стал укладываться. На это понадобилось больше времени, чем я ожидал, но все-таки мне удалось покончить с саквояжем, и я сел на него, чтобы затянуть ремни.

– А как насчет башмаков? Ты не собираешься положить их в саквояж? – спросил Гаррис.

Я оглянулся и обнаружил, что забыл про башмаки. Такая выходка вполне в духе Гарриса. Он, конечно, хранил гробовое молчание, пока я не закрыл саквояж и не стянул его ремнями. А Джордж смеялся, – смеялся своим раздражающим, бессмысленным, кудахтающим смехом. Они оба иногда доводят меня до исступления.

Я открыл саквояж и уложил башмаки; и когда я уже собирался снова закрыть его, мне пришла в голову ужасная мысль. Упаковал ли я свою зубную щетку? Не понимаю, как это получается, но я никогда не бываю уверен, упаковал я свою зубную щетку или нет.

Зубная щетка – это наваждение, которое преследует меня во время путешествия и портит мне жизнь. Ночью мне снится, что я забыл ее уложить. Я просыпаюсь в холодном поту, выскакиваю из постели и бросаюсь на поиски. А утром я упаковываю ее прежде, чем успеваю почистить зубы, и мне приходится рыться в саквояже, чтобы разыскать ее, и она неукоснительно оказывается последней вещью, которую я выуживаю оттуда. И я снова укладываю саквояж и забываю о ней, и в последнюю минуту мне приходится мчаться за ней по лестнице и везти ее на вокзал завернутой в носовой платок.

Конечно, и на этот раз мне пришлось перерыть все содержимое саквояжа, и я, конечно, не мог найти зубную щетку. Я вывалил вещи, и они расположились приблизительно в таком порядке, в каком были до сотворения мира, когда царил первозданный хаос. На щетки Джорджа и Гарриса я натыкался, разумеется, раз по двадцать, но моя как будто провалилась сквозь землю. Я стал перебирать вещи одну за другой, осматривая их и встряхивая. Я обнаружил щетку в одном из башмаков. Потом я снова уложил саквояж.



Когда я с этим покончил, Джордж спросил, не забыл ли я уложить мыло. Я ответил, что мне плевать на мыло; я изо всей силы захлопнул саквояж и стянул его ремнями, и тут оказалось, что я сунул в него свой кисет и что мне надо начинать все сначала. С саквояжем было покончено в 10 час. 05 мин. вечера, а на очереди были еще корзины. Гаррис заметил, что выезжать надо через каких-нибудь двенадцать часов и что лучше уж они с Джорджем возьмут на себя оставшуюся работу. Я согласился и уселся в кресло, а они принялись за дело.

Принялись они весьма ретиво, очевидно собираясь показать мне, как это делается. Я не стал наводить критику – я просто наблюдал. Когда Джордж кончит жизнь на виселице, самым дрянным упаковщиком в мире останется Гаррис. И я смотрел на груду тарелок, чашек, чайников, бутылок, кружек, пирожков, спиртовок, печенья, помидоров и т.д. и предвкушал, что скоро произойдет нечто захватывающее.

Оно произошло. Для начала они разбили чашку. Но это было только начало. Они разбили ее, чтобы показать свои возможности и вызвать к себе интерес.

Потом Гаррис поставил банку земляничного варенья на помидор и превратил его в кашу, и им пришлось вычерпывать его из корзины чайной ложкой.

Тут пришла очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я ничего не сказал, только подошел поближе и, усевшись на край стола, стал наблюдать за ними. Это их выводило из себя больше, чем любые упреки. Я это чувствовал. Они стали волноваться и раздражаться, и наступали на приготовленные вещи, и задвигали их куда-то, и потом, когда было нужно, не могли их разыскать; и они уложили пирожки на дно, а сверху поставили тяжелые предметы, и пирожки превратились в лепешки.

Они все засыпали солью, ну а что касается масла!.. В жизни я не видел, чтобы два человека столько хлопотали вокруг куска масла стоимостью в один шиллинг и два пенса. После того как Джорджу удалось отделить его от своей подошвы, они с Гаррисом попытались запихать его в жестяной чайник. Оно туда не входило, а то, что уже вошло, не хотело вылезать. Все-таки они выковыряли его оттуда и положили на стул, и Гаррис сел на него, и оно прилипло к Гаррису, и они стали искать масло по всей комнате.

– Ей-богу, я положил его на этот стул, – сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье.

– Я и сам видел, как ты его туда положил минуту тому назад, – подтвердил Гаррис.

Тогда они снова начали шарить по всем углам в поисках масла, а потом опять сошлись посреди комнаты и воззрились друг на друга.

– Отродясь не видывал ничего более странного, – сказал Джордж.

– Ну и чудеса! – сказал Гаррис.

Тогда Джордж зашел Гаррису в тыл и увидел масло.

– Как, оно здесь и было все время? – с негодованием воскликнул он.

– Где? – поинтересовался Гаррис, повернувшись на сто восемьдесят градусов.

– Да стой ты спокойно! – взревел Джордж, бросаясь за ним.

И они отскоблили масло и положили его в чайник для заварки.

Монморанси был, конечно, в самой гуще событий. Все честолюбие Монморанси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навлекать на себя проклятия. Если он ухитряется пролезть туда, где его присутствие особенно нежелательно, и всем осточертеть, и вывести людей из себя, и заставить их швырять ему в голову чем попало, то он чувствует, что день прожит не зря.

Добиться того, чтобы кто-нибудь споткнулся о него и потом честил его на все корки в продолжение доброго часа, – вот высшая цель и смысл его жизни; и когда ему удается преуспеть в этом, его самомнение переходит всякие границы.

Он усаживался на наши вещи в ту самую минуту, когда их надо было укладывать, и пребывал в непоколебимой уверенности, что Гаррису и Джорджу, за чем бы они ни протягивали руку, нужен был именно его холодный и мокрый нос. Он влез лапой в варенье, вступил в сражение с чайными ложками, притворился, будто принимает лимоны за крыс, и, забравшись в корзину, убил трех из них прежде, чем Гаррис огрел его сковородкой.

Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я ее не науськивал. Этого пса не надо науськивать. Его толкает на такие дела первородный грех, врожденная склонность к пороку, которую он всосал с молоком матери.

Упаковка вещей была закончена в 12 час. 50 мин. Гаррис сел на большую из корзин и выразил надежду, что бьющиеся предметы у нас не пострадают. Джордж на это заметил, что если что-нибудь и разбилось, то оно уже разбилось, и эта мысль его утешила. Он добавил, что был бы не прочь отправиться спать. Мы все были не прочь отправиться спать.

Гаррис должен был ночевать у нас. И мы поднялись в спальню.

Мы бросили жребий, и Гаррису выпало спать со мной. Он спросил:

– С какой стороны кровати ты предпочитаешь спать?

Я сказал, что предпочитаю спать не с какой-нибудь стороны, а просто на кровати.

Гаррис заявил, что это чудачество.

Джордж спросил:

– В котором часу вас будить, ребята?

Гаррис ответил:

– В семь.

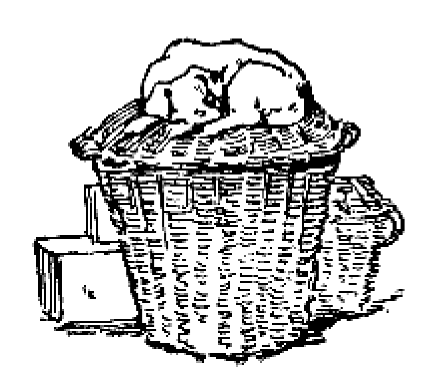
Я сказал:

– Нет, в шесть, – потому что собирался еще написать несколько писем.

После некоторого препирательства мы с Гаррисом сошлись на том, чтобы взять среднее арифметическое, и назначили половину седьмого.

– Разбуди нас в шесть тридцать, Джордж, – сказали мы.

Джордж ничего не ответил, и мы в результате произведенного обследования установили, что он уже давно спит; тогда мы приставили к его кровати лохань с водой, чтобы утром, вставая с постели, он сразу плюхнулся в нее, а сами улеглись спать.



Глава V

Нас будит миссис Попитс. – Джордж-лежебока. – Надувательство с предсказанием погоды. – Багаж. – Испорченный мальчишка. – Вокруг нас собирается толпа. – Мы торжественно отбываем на вокзал Ватерлоо. – Персонал Юго-Западной железной дороги пребывает в блаженном неведении касательно таких мирских дел, как расписание поездов. – Плыви, наш челн, по воле волн.

Утром меня разбудила миссис Попитс.



Она постучала в дверь и сказала:

– Известно ли вам, сэр, что сейчас около девяти?

– Девяти чего? – воскликнул я, садясь на постели.

– Девяти часов, – откликнулась она через замочную скважину. – Я боялась, не проспали ли вы?

Я растолкал Гарриса и объяснил ему, что случилось. Он сказал:

– Ты как будто собирался встать в шесть?

– Конечно, – ответил я, – почему же ты меня не разбудил?

– А как я мог тебя разбудить, когда ты меня не разбудил? – возразил он.

– Теперь мы не доберемся до места раньше полудня. Странно, что ты вообще взял на себя труд проснуться.

– К счастью для тебя, – огрызнулся я. – Если бы я тебя не разбудил, ты бы так и дрых здесь все эти две недели.

Так мы ворчали друг на друга минут десять, пока нас не прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые после того, как нас разбудили, мы вспомнили о его существовании. Ага, вот он – человек, который спрашивал, когда нас разбудить: он лежит на спине с открытым ртом, и под одеялом торчат его согнутые колени.



Не знаю почему, но когда я вижу кого-нибудь спящим, в то время как я бодрствую, я прихожу в ярость. Так мучительно быть свидетелем того, что бесценные часы земного существования, быстротечные мгновения, которых ему уже никогда не вернуть, человек попусту тратит на скотский сон.

И вот полюбуйтесь на Джорджа, который, поддавшись омерзительной лени, расточает ниспосланный ему свыше дар – время. Его драгоценная жизнь, в каждой секунде которой он должен будет когда-нибудь дать отчет, проходит мимо него без цели и смысла.

А ведь он мог бы бодрствовать, уплетая яичницу с ветчиной, или дразня собаку, или заигрывая с горничной, вместо того чтобы валяться тут в полном бесчувствии, унижающем человеческое достоинство.

Какая ужасная мысль! В одно и то же мгновение она потрясла и меня и Гарриса. Мы решили спасти Джорджа и, объединенные таким благородным стремлением, забыли о наших собственных распрях. Мы накинулись на него и стащили с него одеяло, и Гаррис шлепнул его туфлей, а я гаркнул у него над ухом, и он проснулся.

– Что случилось? – осведомился он, приняв сидячее положение.

– Вставай, безмозглый чурбан! – проревел Гаррис. – Уже без четверти десять.

– Как! – завопил Джордж и, соскочив с постели, очутился в лохани. – Какой болван, гром его разрази, подставил сюда эту штуку?

Мы ответили, что надо быть ослом, чтобы не заметить лохани.

Наконец мы оделись, но когда дело дошло до дальнейших процедур, то обнаружилось, что зубные щетки, головная щетка и гребенка уложены (я уверен, что зубная щетка когда-нибудь доконает меня), и, значит, нам надо спускаться и выуживать их из саквояжа. А когда это было уже позади, Джорджу понадобился бритвенный прибор. Мы объяснили ему, что сегодня придется обойтись без бритья, поскольку мы не собираемся опять распаковывать саквояж ни для него, ни вообще для кого бы то ни было.

Он сказал:

– Не валяйте дурака. Разве я могу, показаться в Сити в таком виде?

Пожалуй, это было действительно не слишком мягко по отношению к Сити, но что нам чужие страдания? Как сказал Гаррис, с присущей ему вульгарностью, – Сити и не такое сожрет.

Мы спустились к завтраку. Монморанси пригласил двух знакомых собак проводить его, и они коротали время, грызясь у крыльца. Мы успокоили их при помощи зонтика и занялись отбивными котлетами и холодной говядиной. Гаррис изрек:

– Хороший завтрак – великое дело! – и начал с двух отбивных котлет, заметив, что иначе они остынут, тогда как говядина может и подождать.

Джордж завладел газетой и прочел вслух сообщения о несчастных случаях с лодками и предсказание погоды, в котором пророчились «осадки, похолодание, переменная облачность (а уж это – самая зловещая штука, какая только может быть сказана о погоде), местами возможны грозы, ветер восточный, свежий до сильного, в центральных графствах (Лондон и Ла-Манш) – область пониженного давления; барометр продолжает падать».

Мне думается, что из всего глупейшего, раздражающего вздора, которым забивают нам голову, едва ли не самое гнусное – это мошенничество, обычно называемое предсказанием погоды. На сегодняшний день нам обещают точнехонько то, что происходило вчера или позавчера, и прямо противоположное тому, что произойдет сегодня.



Помню, как однажды осенью мой отдых был совершенно загублен тем, что мы верили предсказаниям погоды, которые печатались в местной газете. «Сегодня ожидаются проходящие ливни и грозы», – было написано там в понедельник, и мы отложили пикник и целый день сидели дома в ожидании дождя. А под окнами на линейках и пролетках катили развеселые компании, солнце жарило вовсю и на небе не было ни облачка.

«Ну-ну, поглядим, в каком-то виде они вернутся!» – говорили мы, глядя на них из окна.

И мы, посмеиваясь при мысли о том, как они промокнут, отошли от окна, растопили камин и занялись чтением и приведением в порядок коллекции водорослей и раковин. В полдень солнце залило всю комнату, жара стала удручающей и мы недоумевали, когда же разразятся эти проходящие ливни и грозы.

«Погодите, все начнется после полудня, – говорили мы друг другу. – Ну и промокнут же эти гуляки! Вот будет потеха!»

В час заглянула хозяйка и спросила, не собираемся ли мы прогуляться, – такой чудесный день.

«Ну, нет, – ответили мы, многозначительно посмеиваясь, – мы гулять не собираемся. Мы вовсе не желаем промокнуть. Покорно благодарим».

И когда день уже клонился к вечеру, а дождя все еще не было, мы продолжали подбадривать себя тем, что он хлынет внезапно, как раз в тот самый момент, когда гуляющие уже отправятся в обратный путь, и таким образом им негде будет спрятаться, и они вымокнут до нитки. Но день прошел, а с небосвода не упало ни единой капли, и за ясным днем последовала такая же ясная ночь.

На следующее утро мы прочли, что ожидается «жаркий день, устойчивая, ясная погода», и мы надели легкие светлые костюмы и отправились на прогулку, а через полчаса пошел дождь и, откуда ни возьмись, начал дуть пронизывающий ветер, и дождь с ветром усердствовали весь день без передышки, и мы вернулись насквозь продрогшие и простуженные и легли спать.

Погода – это явление, находящееся за пределами моего понимания. Я никогда не могу толком в ней разобраться. Барометр ничего не дает: он так же вводит в заблуждение, как и газетные предсказания.

Я вспоминаю о барометре оксфордской гостиницы, в которой я останавливался прошлой весной. Когда я на него посмотрел, он стоял на «ясно». В это самое время дождь лил ручьями, а начался он еще с ночи, и я никак не мог понять, в чем дело. Я слегка стукнул пальцем по барометру, и стрелка перескочила на «хор. погода». Проходивший мимо коридорный остановился и заметил, что барометр, наверно, имеет в виду завтрашний день. Я высказал предположение, что, может быть, он, наоборот, вспоминает о позапрошлой неделе, но коридорный сказал, что лично он этого не думает.

На следующее утро я снова стукнул по барометру, и стрелка скакнула еще дальше, и дождь припустил с еще большим ожесточением. В среду я подошел и снова щелкнул по барометру, и стрелка сдвинулась с отметки «ясно», прошла через «хор. погода» и «великая сушь» и остановилась, дойдя до упора, так как дальше двигаться было некуда. Она была, видимо, не прочь продвинуться еще дальше, но устройство прибора не позволяло ей предсказывать хорошую погоду более настойчиво. Стрелка, очевидно, хотела двигаться дальше, предвещая засуху, пересыхание морей, солнечные удары, самум и тому подобное, но шпенек, поставленный для упора, этому помешал, и она вынуждена была удовлетвориться банальным «великая сушь».

А между тем дождь лил как из ведра и река, выйдя из берегов, затопила нижнюю часть города.

Коридорный сказал, что, вероятно, это долгосрочный прогноз великолепной погоды, которая когда-нибудь впоследствии установится, и процитировал стихотворение, напечатанное сверху, над шкалой пророческого инструмента, что-то вроде следующего:

Прилагаю я старание,

Чтоб вы знали все заранее.

В то лето хорошая погода так и не наступила. Должно быть, этот прибор имел в виду будущую весну.

Недавно появилась еще одна разновидность барометров – прямые и высокие. Я никогда не могу разобрать, где у них голова и где хвост. Одна сторона у них для 10 часов утра вчерашнего дня, а другая – для 10 часов утра сегодняшнего; на разве всегда есть возможность попасть туда, где он выставлен, в такую рань? Он поднимается и падает, как при дождливой, так и при ясной погоде, от усиления и ослабления ветра, и на одном конце написано «В-к», а на другом «З-д», (но при чем тут «В-к», я совершенно не понимаю), и если его постукать, то он все равно ничего вам не скажет. И надо вносить поправку в его показания соответственно высоте над уровнем моря и температуре по Фаренгейту, и даже после этого я все равно понятия не имею, чего следует ожидать.

Но кому нужны предсказания погоды? То, что она портится, уже само по себе достаточно скверно; зачем же еще отравлять себе жизнь, узнавая об этом заранее? Если мы кого и признаем в качестве пророка, то это какого-нибудь старикашку, который в особенно пасмурное утро, когда нам особенно хочется, чтобы был ясный день, окидывает горизонт особенно проницательным взором и говорит:

«О нет, сэр, ручаюсь, что тучи разойдутся. Погода разгуляется, сэр».

«Ну, он-то уж в этом знает толк, – говорим мы, желая ему всяких благ и выезжая за город, – удивительное чутье у этих стариков!»

И мы чувствуем к нему признательность, которую вовсе не уменьшает то обстоятельство, что погода *не* разгуливается и что дождь льет весь день без передышки.

«Ничего не поделаешь, – думаем мы, – в конце концов, это от него не зависит».

Напротив, у нас остается лишь горечь и мстительное чувство по отношению к тому, кто предрекает непогоду.

«Как вы думаете, – прояснится?» – приветливо кричим мы, поравнявшись с ним.

«Едва ли, сэр; видать по всему, дождь зарядил до вечера», – отвечает он, покачивая головой.

«Старый болван! – бормочем мы. – Что он в этом смыслит?»

И если его предсказание оправдывается, мы возвращаемся в еще большем негодовании и с каким-то смутным ощущением, что он так или иначе причастен к этому грязному делу.

Утро нашего отъезда было теплым и солнечным, и нас трудно было обескуражить леденящими кровь пророчествами Джорджа вроде «бар. падает», «область пониженного давления распространяется на южную часть Европы» и т.д. Поэтому, убедившись, что он не способен привести нас в отчаяние и только попусту теряет время, Джордж стянул папироску, которую я заботливо свернул для себя, и вышел.

А мы с Гаррисом, покончив с тем немногим, что еще оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать кэб.



Когда мы сложили все в кучу, то оказалось, что у нас багаж довольно внушительный. Тут был большой кожаный саквояж, маленький сак, две корзины, большой тюк с пледами, четыре-пять пальто и дождевых плащей, зонтики, дыня в отдельном мешке (она была слишком громоздкой, чтобы можно было куда-нибудь ее запихать), пакет с двумя фунтами винограда, японский бумажный зонтик и сковородка, которая из-за длинной ручки никуда не влезала, а потому, завернутая в плотную бумагу, лежала отдельным местом багажа.

Вещей набралось так много, что нам с Гаррисом стало как-то неловко, хотя и непонятно, почему. Свободный кэб все еще не появлялся, но зато появились уличные мальчишки. Заинтересованные зрелищем, они стали собираться вокруг нас.

Первым, конечно, прибежал мальчик от Биггса. Биггс – это наш зеленщик. У него особый талант выискивать себе посыльных среди самых отпетых и беспринципных сорванцов из всех, каких когда-либо порождала цивилизация. Если по соседству происходит некое из ряда вон выходящее озорство, мы не сомневаемся, что это дело рук последнего по счету Биггсова приобретения. Мне рассказывали, что когда на Грэйт-Корам-стрит случилось убийство, то на нашей улице, сразу догадались, что здесь не обошлось без тогдашнего мальчика от Биггса. И если бы при строжайшем перекрестном допросе, который устроил *N19* , когда мальчишка явился за заказом на следующий после убийства день (в допросе принял участие и *N21* , оказавшийся в этот момент на крыльце), мальчик от Биггса не смог доказать свое бесспорное алиби, то ему пришлось бы худо.

В то время я еще не был знаком с мальчиками от Биггса, но с тех пор я достаточно нагляделся на них, чтобы не придавать большого значения этому алиби.

Мальчик от Биггса, как я уже сказал, вынырнул из-за угла. Он, очевидно, очень торопился в тот момент, когда его взорам представилось вышеописанное зрелище, но, заметив Гарриса, и меня, и Монморанси, и поклажу, он сбавил ход и вытаращил на нас глаза. Мы с Гаррисом посмотрели на него сурово. Это могло бы задеть более чуткую натуру, но мальчики от Биггса, как правило, не слишком щепетильны. Он встал на мертвый якорь в трех шагах от нашего крыльца, прислонился к ограде, выбрал подходящую травинку и, жуя ее, впился в нас глазами. Он, без сомнения, решил досмотреть все до конца.

Как раз в это время на противоположной стороне улицы появился мальчик от бакалейщика. Мальчик от Биггса окликнул его:

– Эй! Нижние из сорок второго переезжают.

Мальчик от бакалейщика перешел через дорогу и занял позицию по другую сторону крыльца. Потом рядом с мальчиком от Биггса пристроился юный джентльмен из обувной лавки, тогда как ответственное за мытье пустых бутылок лицо из «Синих Столбов» независимо обосновалось на краю тротуара.

– Что-что, а с голоду они не помрут, – заметил джентльмен из обувной лавки.

– Небось ты бы тоже захватил кой-чего в дорогу, – возразили «Синие Столбы», – если бы собрался пересечь в лодке Атлантический океан.

– Очень им надо пересекать Атлантический океан! – вступил в беседу мальчик от Биггса. – Они отправляются на розыски[8] Стенли.

Тем временем нас уже окружила порядочная толпа и люди спрашивали друг друга, что происходит. Образовались две партии. Одна, состоявшая из более молодых и легкомысленных зрителей, держалась того мнения, что это свадьба, и считала Гарриса женихом; другая, куда входили пожилые и солидные люди, склонялась к мысли, что это похороны и что я, скорее всего, брат усопшего.

Наконец мы увидели пустой кэб (когда они не нужны, пустые кэбы появляются на нашей улице, как правило, не реже чем каждые двадцать секунд и загромождают мостовую, не давая ни пройти, ни проехать); мы втиснули самих себя и свои пожитки в кэб, вышвырнули оттуда двух-трех друзей Монморанси, которые, вероятно, поклялись никогда не разлучаться с ним, и тронулись в путь, провожаемые криками «ура» и ликованием толпы, а также морковкой, которой мальчик от Биггса запустил в нас «на счастье».

В одиннадцать часов мы прибыли на вокзал Ватерлоо и стали спрашивать, с какой платформы отправляется поезд одиннадцать пять. Конечно, никто этого не знал; на Ватерлоо никто никогда не знает, откуда отправляется поезд, равно как не знает, куда идет поезд, если уж он отправился, равно как не знает вообще ничего, относящегося к этому делу. Носильщик, взявший наши вещи, считал, что поезд отправляется со второй платформы, а другой носильщик, с которым наш вступил в дискуссию по данному вопросу, утверждал, что до него дошел слух, будто посадка производится с первой платформы. Начальник же станции, со своей стороны, держался того мнения, что поезд отправляется с пригородной платформы.

Чтобы выяснить все окончательно, мы поднялись наверх к диспетчеру, и он нам объяснил, что сию минуту встретил одного человека, который будто бы видел наш поезд у третьей платформы. Мы двинулись к составу, стоявшему у третьей платформы, но тамошнее начальство разъяснило нам, что это, скорей всего, саутгэмптонский экспресс, если только не кольцевой виндзорский. Во всяком случае, оно ручается, что это не кингстонский поезд, хотя оно и не может объяснить, почему оно за это ручается.

Тогда наш носильщик заявил, что кингстонский поезд, по-видимому, отправляется от верхней платформы: судя по виду, там стоит наш поезд. Мы поднялись на верхнюю платформу и нашли машиниста и спросили его, не на Кингстон ли он поведет состав. Он сказал, что, видимо, да, хотя, конечно, трудно утверждать наверное. Во всяком случае, если это не 11:05 на Кингстон, то уж определенно 9:32 вечера на курорт Вирджиния или, в крайнем случае, десятичасовой экспресс на остров Уайт или куда-нибудь в этом направлении, и что мы все точно узнаем, когда прибудем на место. Мы сунули ему полкроны и попросили его быть 11:05 на Кингстон.

– Ни одна душа на этой дороге, – убеждали мы его, – все равно не разберется, что это за поезд и куда он отправляется. Вы знаете, куда ехать; снимайтесь потихоньку отсюда и поезжайте в Кингстон.

– Не знаю уж, что и делать с вами, джентльмены, – ответил этот славный малый. – Ведь и в самом деле, должен же какой-то состав идти на Кингстон; придется мне взять это на себя. А ну, давайте сюда ваши полкроны.

Так мы попали в Кингстон по Юго-Западной железной дороге.

Впоследствии мы выяснили, что поезд, которым мы ехали, был эксетерский почтовый и что на вокзале Ватерлоо его искали несколько часов и никто не мог понять, куда он девался.

Наша лодка ждала нас в Кингстоне чуть ниже моста; мы добрались до нее, погрузили на нее вещи и уселись сами.

– Ну как, джентльмены, все в порядке? – спросил хозяин лодочной станции.

– В порядке, – бодро ответили мы и – Гаррис на веслах, я у руля, а тоскующий, полный дурных предчувствий Монморанси на носу лодки – двинулись по реке, которой на ближайшие две недели суждено было стать нашим домом.

Глава VI

Кингстон. – Поучительные рассуждения о древнем периоде английской истории. – Назидательные мысли о резном дубе и о жизни вообще. – Печальный пример Стиввингса-младшего. – Размышления о старине. – Я забыл, что я рулевой. – Что из этого вышло. – Хэмптон-Кортский лабиринт. – Гаррис в роли проводника.

Выдалось чудесное утро, как бывает в конце весны или, – если вам это больше нравится, – в начале лета, когда нежная окраска травы и листьев переходит в более яркие и сочные тона и природа похожа на девушку-красавицу, охваченную смутным трепетом пробуждающейся женственности.

Узкие улочки Кингстона, сбегающие к воде, освещенные лучами солнца, выглядели так живописно; сверкающая река с величаво плывущими по ней баржами, бечевник, вьющийся вдоль лесистого берега, нарядные виллы на противоположном берегу, Гаррис, пыхтящий на веслах в своем полосатом (красном с оранжевым) спортивном свитере, виднеющийся вдали мрачный старинный дворец Тюдоров,[9] – все это вместе представляло такую яркую, полную жизни и в то же время покоя картину, что, несмотря на ранний час, я впал в поэтически-созерцательное состояние.

Перед моим умственным взором предстал Кингстон, или Кенингестун,[10] как он назывался в те времена, когда там короновались англо-саксонские «кенинги». Великий Цезарь в этом месте переправился через Темзу, и римские легионы расположились лагерем на окрестных холмах.[11] Цезарь, как и много позже королева Елизавета, останавливался, по-видимому, на каждом углу, только он был несколько солиднее доброй королевы Бесс: он не ночевал в трактирах.[12]

А она просто обожала трактиры, эта английская королева-девственница. Вряд ли отыщется хоть один мало-мальски примечательный кабачок в радиусе десяти миль от Лондона, куда бы она в свое время не заглянула, или где бы она не посидела, или не провела ночь.

Любопытно: что, если бы Гаррис вдруг совершенно переменился, сделался бы выдающимся и порядочным человеком, стал бы премьер-министром и потом умер, – появились бы на вывесках трактиров, к которым он благоволил, надписи вроде следующих: «Здесь Гаррис выпил кружку светлого»; «Здесь летом 1888 г. Гаррис пропустил два стаканчика холодного шотландского»; «Отсюда в декабре 1886 г. вывели Гарриса»?

Не думаю. Таких надписей было бы слишком много! Скорее прославились бы те питейные заведения, куда он ни разу не заглядывал. «Единственная пивная в Южной части Лондона, где Гаррис не выпил ни одного глотка!» – и толпа повалила бы туда, чтобы поглазеть на такое диво.

Как, должно быть, ненавидел Кенингестун этот бедняга, простоватый король Эдви.[13] Пир по случаю коронации был ему не по силам. То ли кабанья голова, нафаршированная цукатами, вызвала у него колики (со мною это было бы наверняка), то ли с него было уже достаточно

вина и меда, но, так или иначе, он удрал потихоньку с буйного пиршества, чтобы провести часок при луне с ненаглядной своей Эльгивой.

И верно, взявшись за руки, стояли они у окна, любуясь протянувшейся по реке лунной дорожкой, тогда как из пиршественного зала доносились до них неясный гул голосов и взрывы буйного хохота.

Но тут эти скоты – Одо и Сент-Дунстан – врываются в их тихую спальню и осыпают грубой руганью ясноликую королеву и уволакивают несчастного Эдви обратно в дикий хаос пьяного разгула.

Прошли годы, и под звуки боевых труб были погребены в одной могиле англо-саксонские короли и англосаксонское буйство. И Кингстон утратил былое величие, которое возродилось вновь много позднее, когда Хэмптон-Корт стал резиденцией Тюдоров, а потом Стюартов;[14] в те времена королевские барки покачивались у причалов, а щеголи в ярких плащах важно спускались по ступенькам к воде и вызывали паром английской бранью вперемешку с французской божбой.

Многие старые дома города красноречиво повествуют о тех днях, когда Кингстон был местопребыванием двора, когда здесь, рядом со своим королем, жили вельможи и придворные, когда вдоль всей дороги, ведущей к воротам дворца, бряцала сталь, гарцевали скакуны, шуршали шелк и бархат, мелькали лица красавиц. Большие просторные дома с нависающими одно над другим зарешеченными окнами, с огромными каминами и островерхими крышами говорят нам о временах длинных чулок и коротких камзолов, расшитых перевязей и вычурных клятв. Эти дома были сложены в те времена, когда люди умели строить. С годами красная кирпичная кладка стала еще плотнее, а дубовые ступени не скрипят и не стонут, когда вы хотите тихонько спуститься по лестнице.

Раз уж речь зашла о дубовых лестницах, я не могу не вспомнить великолепную лестницу резного дуба в одном из кингстонских домов. Дом этот стоит на рыночной площади, и там теперь помещается лавка, но некогда он служил, очевидно, резиденцией какого-то вельможи. Мой приятель, живущий в Кингстоне, зашел однажды в эту лавку, чтобы купить шляпу; потом он по рассеянности сунул руку в карман и неожиданно для самого себя расплатился наличными.

Лавочник (а он хорошо знал моего приятеля) в первый момент, естественно, остолбенел; однако он сразу же овладел собой и, понимая, что подобный образ действий покупателя заслуживает поощрения, спросил нашего героя, не хочет ли он взглянуть на старинную резьбу по дереву. Мой приятель сказал, что с удовольствием посмотрит, и владелец лавки провел его через торговое помещение к лестнице. Ее балясины и перила были чудом искусства, а вдоль всей лестницы шла резная дубовая панель, которой мог бы позавидовать любой дворец.

Лестница привела их в большую светлую гостиную, оклеенную веселенькими голубыми обоями, которые выглядели здесь несколько странно. В этой комнате не было ничего примечательного, и мой, друг недоумевал, зачем его туда привели. Хозяин постучал по стене; послышался глухой деревянный звук.

«Дуб, – пояснил хозяин, – сплошной резной дуб! От пола до самого потолка точь-в-точь такая же резьба, как на лестнице».

«Бессмертные боги! – возопил мой приятель, – неужто вы залепили дубовую резьбу голубыми обоями?»

«Вот именно, – услышал он в ответ, – и обошлось это мне недешево. Пришлось сначала обшить стены досками. Зато теперь комната стала уютной. Раньше здесь было довольно мрачно».

Должен сказать, что я далек от того, чтобы безоговорочно осуждать вышеуказанного лавочника (надеюсь, что это принесет ему некоторое облегчение). С его точки зрения, то есть с точки зрения не фанатика-антиквара, а среднего обывателя, желающего по возможности

наслаждаться жизнью, такой образ действий был вполне разумным. Очень приятно полюбоваться на дубовую резьбу, в высшей степени лестно обладать образчиком дубовой резьбы, но постоянно жить в окружении дубовой резьбы невыносимо: это действует угнетающе, – конечно, если вы не одержимы маниакальной страстью к резному дубу. Ведь это все равно что жить в церкви.

Однако поистине обидно, что у того, кто равнодушен к резному дубу, им украшена вся гостиная, тогда как любители резьбы по дереву должны платить за нее бешеные деньги. Увы, так, видимо, всегда бывает в нашем мире. Каждый человек обладает тем, что ему совершенно не нужно, а тем, что ему необходимо, владеют другие.

У женатых мужчин имеются супруги, которые им как будто ни к чему, а молодые холостяки плачутся, что им не на ком жениться. У бедняков, которые едва сводят концы с концами, бывает сплошь и рядом по полдюжине ребятишек, а богачи умирают бездетными, и им некому оставить наследство.

Так же и у девушек с поклонниками. Те девушки, у которых много поклонников, вовсе в них не нуждаются. Они уверяют, что предпочли бы вовсе не иметь поклонников, что поклонники надоели им до смерти и почему бы этим поклонникам не поухаживать за мисс Смит или мисс Браун, которые уже в летах и не слишком хороши собой и не имеют кавалеров. А им самим поклонники совершенно не нужны. Они вообще никогда не выйдут замуж.

Но не надо думать о таких вещах: от этого становится слишком грустно!

В школе у нас учился один мальчик, мы прозвали его Сэндфорд-и-Мертон.[15] На самом деле его фамилия была Стиввингс. Это был невообразимый чудак, таких я в жизни не видел. Подозреваю, что он и в самом деле любил учиться. Он получал страшнейшие головомойки за то, что читал по ночам греческие тексты; а что касается французских неправильных глаголов, то от них его нельзя было оторвать никакими силами. Он был напичкан вздорными и противоестественными идеями вроде того, что он должен быть надеждой своих родителей и гордостью своей школы; он мечтал о том, чтобы получать награды за отличные успехи, о том, чтобы принести пользу обществу и о прочей чепухе в этом же роде. Повторяю, я еще не встречал другого такого чудака; впрочем, он был безобиден, как новорожденный младенец.

И этот мальчик в среднем два раза в неделю заболевал и не ходил в школу. Не было на свете большего специалиста по подхватыванию всевозможных недугов, чем этот бедняга Сэндфорд-и-Мертон.

Стоило где-нибудь на расстоянии десяти миль появиться какой угодно болезни, и, пожалуйста, он уже подцеплял ее – притом в самой тяжелой форме. Он умудрялся схватить бронхит в разгар летнего зноя и сенную лихорадку на рождество. После полуторамесячной засухи у него мог начаться приступ ревматизма. Ему ничего не стоило выйти погулять в туманный ноябрьский день и вернуться с солнечным ударом.

Одну зиму несчастный мальчуган так ужасно страдал зубной болью, что пришлось вырвать ему под наркозом все зубы до единого и вставить искусственные челюсти. Тогда он переключился на невралгию и колотье в ушах. Насморк не проходил у него никогда; единственным исключением были те девять недель, когда он болел скарлатиной. Вечно у него было что-нибудь отморожено. Холерная эпидемия 1871 года по странной случайности совершенно не задела наши места. Во всем приходе был зарегистрирован один-единственный случай холеры: это был юный Стиввингс. Когда он заболевал, его немедленно укладывали в постель и начинали кормить цыплятами, парниковым виноградом и разными деликатесами. А он лежал в мягкой постели и заливался горючими слезами, потому что ему не позволяли писать латинские упражнения и отбирали у него немецкую грамматику.

А нам, его товарищам, каждый из которых не задумываясь отдал бы три учебных года своей жизни за возможность хоть на один день заболеть и поваляться в постели, нам, вовсе не собиравшимся давать родителям основание гордиться своими чадами, – нам не удавалось

добиться даже того, чтобы у нас запершило в горле. Мы торчали на сквозняках, надеясь простудиться, но это только укрепляло нас и придавало свежесть лицу. Мы ели всякую дрянь, чтобы нас рвало, но только толстели и здоровели от этого. На какие бы выдумки мы ни пускались, нам никак не удавалось заболеть до наступления каникул. Но как только нас распускали по домам, мы в тот же день простужались или подхватывали коклюш или еще какую-нибудь заразу, которая приковывала нас к постели до начала следующего семестра. А тогда, несмотря на все наши ухищрения, мы безнадежно выздоравливали и чувствовали себя как нельзя лучше.

Такова жизнь. А мы лишь былинки, сгибающиеся под ветром судьбы.

Возвращаясь к вопросу о резьбе по дереву, я должен заметить, что вообще наши прадеды имели высокие представления об искусстве и красоте. В самом деле, ведь все сокровища искусства, которыми мы обладаем сегодня, это всего-навсего предметы ежедневного обихода трех-, четырехвековой давности. Право, не знаю, действительно ли все эти старинные миски, кубки, подсвечники, которыми мы теперь так дорожим, обладают особой прелестью, или они приобрели такую ценность в наших глазах благодаря ореолу древности. Старинные синие фаянсовые тарелки, которые мы развешиваем по стенам гостиных в качестве украшения, несколько столетий назад были немудрящей кухонной посудой. Розовый пастушок и желтая пастушка, которых вы с гордостью демонстрируете своим друзьям, ожидая от них возгласов удивления и восхищения, были простенькими безделушками, которые какая-нибудь мамаша восемнадцатого века давала своему младенцу пососать, чтобы он не ревел.

Ну а в будущем? Неужели всегда человечество будет ценить как сокровище то, что вчера было дешевой побрякушкой? Неужели в две тысячи таком-то году люди высшего круга будут расставлять на каминных полочках наши обеденные тарелки с орнаментом из переплетенных ивовых веточек? Неужели белые чашки с золотой каемкой и великолепным, но не похожим ни на один из существующих в природе золотым цветком внутри, – чашки, которые наша Мэри бьет, не моргнув глазом, будут бережно склеены, поставлены в горку и никому, кроме самой хозяйки дома, не будет дозволено стирать с них пыль?

Возьмем, к примеру, фарфоровую собачку, украшающую мою спальню в меблированных комнатах. Это белая собачка. Глаза у нее голубые. Нос у нее красненький с черными крапинками. Шея у нее страдальчески вытянута, а на морде написано добродушие, граничащее с идиотизмом. Не могу сказать, чтобы эта собачка приводила меня в восторг. Откровенно говоря, если смотреть на нее как на произведение искусства, то она меня даже раздражает. Мои друзья, для которых нет ничего святого, откровенно потешаются над ней, да и сама хозяйка относится к ней без особого почтения и оправдывает ее присутствие в доме тем обстоятельством, что собачку ей подарила тетя.



Но более чем вероятно, что лет двести спустя, при каких-нибудь раскопках, из земли будет извлечена эта самая собачка, лишившаяся ног и с обломанным хвостом. И она будет помещена в музей как образчик старинного фарфора, и ее поставят под стекло. И знатоки будут толпиться вокруг нее и любоваться ею. Они будут восхищаться теплым колоритом ее носа и будут строить гипотезы, каким совершенным по своей форме должен был быть утраченный хвостик.

Мы сейчас не замечаем прелести этой собачки. Мы слишком пригляделись к ней. Она для нас – как солнечный закат или звездное небо. Их красота не поражает нас, так как наше зрение с нею свыклось. Точно так же и с красотой фарфоровой собачки. В 2288 году она будет производить фурор. Изготовление подобных собачек будет считаться искусством, секрет которого утрачен. Потомки будут биться над раскрытием этого секрета и преклоняться перед нашим мастерством. Нас будут с почтением называть Гениальными Ваятелями Девятнадцатого Столетия и Великими Создателями Фарфоровых Собачек.

Вышивку, которую ваша дочь сделала в школе на уроках рукоделия, назовут «гобеленом викторианской эпохи», и ей не будет цены. За щербатыми и потрескавшимися синими с белым кувшинами, которые подаются в наших придорожных трактирах, будут гоняться коллекционеры, их будут ценить на вес золота, и богачи будут употреблять их как чаши для крюшона. А туристы из Японии будут скупать все уцелевшие от разрушений «подарки из Рэмсгета» и «сувениры из Маргета» и повезут их в Иеддо[16] в качестве реликвий английской старины.

На этом месте Гаррис прервал мои размышления: он бросил весла, привстал, отделился от своей скамейки, лег навзничь и начал дрыгать ногами. Монморанси взвизгнул и перекувырнулся, а верхняя корзина подпрыгнула, и из нее вывалилось все содержимое.

Я был несколько удивлен, но не рассердился. Я спросил довольно благодушно:

– Хелло! В чем дело?

– В чем дело? Ах ты…

Впрочем, я, пожалуй, воздержусь от воспроизведения слов Гарриса. Быть может, я действительно заслуживал порицания, но ничем нельзя оправдать подобную невоздержанность языка и грубость выражений, а тем более со стороны человека, получившего такое образцовое воспитание, как Гаррис. Я, видите ли, задумался и, как легко понять, упустил из виду, что управляю лодкой; в результате наш путь скрестился с тропинкой для пешеходов. В первый момент было трудно распознать, где мы, а где мидлсекский берег Темзы; но в конце концов мы разобрались в этом вопросе и отделили одно от другого.

Тут Гаррис заявил, что с него хватит, что он достаточно поработал и теперь моя очередь. Раз уж мы все равно врезались в берег, то я вылез из лодки, взялся за бечеву и повел лодку мимо Хэмптон-Корта. Какая восхитительная древняя стена тянется здесь вдоль берега! Всякий раз, как мне случается идти мимо, я получаю удовольствие. Какая это веселая, приветливая, славная старая стена! Что за живописное зрелище она представляет собою: тут прилепился лишайник, там она поросла мхом, вот юная виноградная лоза с любопытством заглядывает через нее на оживленную реку, а вон – деловито карабкается по стене солидный старый плющ. На протяжении какого-нибудь десятка ярдов вы можете увидеть на этой стене полсотни различных красок, тонов и оттенков. Если бы я умел рисовать и владел кистью, уж я бы, конечно, изобразил эту стену на холсте. Я частенько думал о том, как приятно было бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь все дышит миром и покоем; так приятно побродить по старинным закоулкам этого городка ранним утром, когда его обитатели еще спят.

А впрочем, если бы дошло до дела, боюсь, что все-таки я не захотел бы здесь поселиться. Наверно, в Хэмптон-Корте довольно жутко и тоскливо по вечерам, когда лампа отбрасывает зловещие тени на деревянные панели стен, а по гулким, выложенным каменными плитами

коридорам разносится эхо чьих-то шагов, которые то приближаются, то замирают вдали, а потом наступает гробовая тишина, в которой вы слышите только биение собственного сердца.

Мы, люди, – дети солнца. Мы любим свет и жизнь. Вот почему мы скучиваемся в городах, а в деревнях год от году становится все малолюднее. Днем, при солнечном свете, когда нас окружает живая и деятельная природа, нам по душе зеленые луга и густые дубравы. Но во мраке ночи, когда засыпает наша мать-земля, а мы бодрствуем, – о, какой унылой представляется нам вселенная, и нам становится страшно, как детям в пустом доме. И тогда к горлу подступают рыдания, и мы тоскуем по освещенным фонарями улицам, по человеческим голосам, по напряженному биению пульса человеческой жизни. Мы кажемся себе такими слабыми и ничтожными перед лицом великого безмолвия, нарушаемого только шелестом листьев под порывами ночного ветра. Вокруг нас витают призраки, и от их подавленных вздохов нам грустно-грустно. Нет, уж лучше будем собираться вместе в больших городах, устраивать иллюминации с помощью миллионов газовых рожков, кричать и петь хором и считать себя героями.



Гаррис спросил, случалось ли мне бывать в Хэмптон-Кортском лабиринте. Он сказал, что однажды зашел туда, чтобы показать его одному своему родственнику. Гаррис предварительно изучил лабиринт по плану и обнаружил, что он до смешного прост, – жалко даже платить за вход два пенса. Гаррис сказал, что он считал, будто план был составлен нарочно, чтобы дурачить посетителей, изображенное на нем вообще не было похоже на лабиринт и могло только сбить с толку. Гаррис повел туда своего кузена, приехавшего из провинции. Гаррис сказал ему:

«Эта ерунда не стоит выеденного яйца, но мы все-таки зайдем туда, чтобы ты мог рассказывать, что побывал в лабиринте. Собственно, это не лабиринт, а одно название. Надо только на каждой развилке поворачивать направо – вот и все. Мы обойдем его минут за десять и пойдем закусить».

Когда они вошли туда, им попались навстречу люди, которые, по их словам, крутились там уже битый час и были сыты этим удовольствием по горло. Гаррис сказал им, что ничего не имеет против, если они последуют за ним: он, мол, только что зашел в лабиринт, обойдет его и выйдет наружу.

Все выразили Гаррису искреннюю признательность и пошли гуськом вслед за ним.

По дороге они подбирали других людей, блуждавших по лабиринту и жаждавших выбраться оттуда, пока все, находившиеся в лабиринте, не присоединились к процессии. Несчастные, уже утратившие всякую надежду выбраться когда бы то ни было на волю, отказавшиеся от мысли узреть друзей и родных, при виде Гарриса и его команды вновь обрели бодрость духа и, призывая благословения на его голову, присоединялись к шествию. Гаррис сказал, что, по самым скромным подсчетам, за ним шагало человек двадцать. А одна женщина с ребенком, блуждавшая по лабиринту с раннего утра, боясь потерять Гарриса, взяла его за руку и цепко держалась за него.

Гаррис честно поворачивал всякий раз направо, но конца пути все не было видно, и кузен сказал, что лабиринт, видимо, очень большой.

«Один из самых обширных в Европе», – подтвердил Гаррис.

«Должно быть так, – сказал кузен, – ведь мы уже прошли добрых две мили».

Гаррис и сам начал подумывать, что действительно дело неладно, но продолжал путь, следуя своей методе, пока наконец шествие не наткнулось на огрызок печенья, валявшийся на земле, и кузен Гарриса не побожился, что он уже видел его семь минут тому назад. Гаррис сказал:

«Не может быть!»

Но женщина с ребенком воскликнула:

«Как бы не так», – она собственноручно отняла у своего младенца этот огрызок и бросила его незадолго до того, как встретила Гарриса. Тут она присовокупила, что дорого бы дала за то, чтобы никогда с ним не встречаться, и выразилась в том смысле, что он гнусный самозванец. Это обвинение возмутило Гарриса до глубины души, и он вытащил план и изложил свою теорию.

«План, может быть, и помог бы делу, – сказал кто-то, – если бы вы хоть приблизительно представляли, в каком месте лабиринта мы находимся».

Гаррис этого себе не представлял и предложил направиться обратно ко входу, чтобы начать все сначала.

Предложение начать все сначала не вызвало большого энтузиазма; что же касается рекомендации вернуться ко входу в лабиринт, то она была встречена единодушным одобрением, и процессия повернула и опять потянулась вслед за Гаррисом в обратном направлении. Прошло минут десять, и они оказались в центре лабиринта.

Гаррис сначала было вознамерился изобразить дело так, что он к этому стремился; но у толпы был такой угрожающий вид, что он решил представить все как чистую случайность.

Теперь по крайней мере было ясно, с чего начать. Зная, где они находятся, они сверились еще раз с планом, убедились, что все затруднения не стоят ломаного гроша, и начали свой поход в третий раз.

И через три минуты они снова оказались в центре лабиринта. Теперь они уже не могли отвязаться от этого места. Куда бы они ни направлялись, дорога неуклонно приводила их обратно, к центру лабиринта. Это стало повторяться с такой регулярностью, что кое-кто из компании просто стоял там и дожидался, пока остальные покрутятся и вернутся к ним. Гаррис снова развернул план, но один вид этого документа привел массы в ярость, и Гаррису посоветовали употребить его себе на папильотки. По признанию Гарриса, он в этот момент почувствовал, что до некоторой степени утратил популярность.

Наконец публика пришла в полное умоисступление и стала выкликать на помощь сторожа. Сторож услышал призывы, взобрался снаружи на лесенку и стал давать нужные указания. Но к этому времени все они уже до того ошалели и в головах у них был такой сумбур, что никто не мог ничего понять, и тогда сторож велел им стоять на месте и сказал, что сейчас придет к ним сам. Они сбились в кучу, а сторож спустился с лесенки и вошел в лабиринт.

На беду, сторож оказался новичком; он вошел в лабиринт, но не сумел найти заблудившихся, а через некоторое время и сам заблудился. Они могли разглядеть сквозь кусты живой изгороди, как он мелькает то тут, то там, и он тоже видел их и пытался до них добраться, и они ждали его минут пять, после чего он снова появлялся на том же самом месте и спрашивал, куда же они девались.

Им пришлось дожидаться, пока после обеда не появился один из опытных сторожей и не вывел их оттуда.

Гаррис сказал, что, насколько он может судить, это очень занятный лабиринт; и мы решили попытаться затащить туда Джорджа на обратном пути.

Глава VII

Темза в воскресном убранстве. – О лодочных костюмах. – Перед мужчинами открываются большие возможности. – Отсутствие вкуса у Гарриса. – Куртка Джорджа. – День в обществе юных модниц. – Памятник миссис Томас. – Человек, который не восхищается могилами, склепами и черепами. – Гаррис приходит в бешенство. – Его высказывания о Джордже, банках и лимонаде. – Он показывает акробатические номера.

Гаррис рассказывал мне о своем посещении лабиринта, пока мы проходили Маулсейский шлюз. На это ушло порядочно времени, потому что шлюз большой, а наша лодка была единственной. Не припомню, чтобы мне случалось попадать в Маулсейский шлюз, когда там всего одна лодка. По-моему, он самый оживленный из всех шлюзов на Темзе, включая даже Боултерский.

Мне не раз доводилось стоять у шлюза, когда в нем вообще не было видно воды: вместо нее расстилался пестрый ковер ярких свитеров, спортивных шапочек, модных шляпок, разноцветных зонтиков, развевающихся платочков, накидок, струящихся лент, изящных белых платьев. Если заглянуть в шлюзовую камеру с набережной, то может показаться, что это огромный ящик, куда высыпали охапку самых разнообразных по форме и раскраске цветов, и они покрыли все пространство радужным узором.

Если в воскресный день выдается хорошая погода, то такая картина представляется глазам с утра до вечера, тогда как выше и ниже шлюза теснится, ожидая своей очереди, еще большее количество лодок; и лодки подплывают и отплывают сплошной вереницей, так что вся сверкающая на солнце река от дворца до самой Хэмптонской церкви усеяна желтыми, синими, оранжевыми, красными, белыми, розовыми пятнами. Все обитатели Хэмптона и Маулси, нарядившись в «лодочные костюмы», высыпают на берег со своими собаками и прогуливаются вокруг шлюза, покуривая трубки, любезничая с барышнями и разглядывая лодки. И все это вместе – шапочки и куртки мужчин, яркие нарядные платья женщин, повизгивающие от возбуждения собаки, скользящие по реке лодки, белоснежные паруса, живописные берега и искрящаяся вода Темзы – представляет самую приятную для глаз картину, какую только можно увидеть в окрестностях хмурого старого Лондона.

Темза предоставляет широкие возможности для демонстрации нарядов. Вот где наконец и мы, мужчины, можем показать *наш* вкус в отношении расцветок, и, доложу вам, мы с честью выдерживаем испытание. Лично я отдаю предпочтение в своем костюме красному цвету – красному и черному. Должен сказать, что волосы у меня золотисто-каштановые, говорят, довольно красивого оттенка, а темно-красный цвет чудно гармонирует с ними; кроме того, по-моему, к моей шевелюре подходит голубой галстук, башмаки из юфти и красный шелковый шарф вокруг талии, – шарф гораздо изящнее, чем обычный пояс.

Гаррис питает пристрастие к разным оттенкам и комбинациям оранжевого и желтого, но, по-моему, это не очень благоразумно с его стороны. Для желтых оттенков он смугловат. Нет, положительно, желтое ему не к лицу. Я бы на его месте взял в качестве фона синий цвет, а по нему пустил что-нибудь белое или кремовое. Но поди же! – чем меньше у людей вкуса в

туалетах, тем с большим упрямством они стоят на своем. Очень жаль: так он решительно не имеет никаких шансов кому-нибудь понравиться, а ведь в природе существуют один-два цвета, которые могли бы помочь ему скрасить свою внешность, особенно если он надвинет шляпу поглубже.

Джордж специально для нашей прогулки купил кой-какие новые вещи, но меня его выбор раздосадовал. Спортивная куртка у него просто кричащая. Я не хочу, чтобы Джордж знал, что я так думаю, но другого слова для его куртки я просто не нахожу. В четверг вечером он принес куртку домой и показал нам. Мы спросили, что это за расцветка, но он сказал, что не знает. Продавец уверил его, что это восточный рисунок. Джордж надел куртку и спросил, как нам нравится его покупка. Гаррис сказал, что готов одобрить ее, как предмет, который вешают ранней весной на огороде, чтобы отпугивать птиц, но ему, Гаррису, делается дурно при одной мысли, что эту вещь можно рассматривать как часть одежды какого-либо представителя человеческого рода, за исключением разве лишь балаганного клоуна.

Джордж надулся, но Гаррис резонно заметил, что если запрещается откровенно высказывать свое мнение, то зачем же тогда и спрашивать?

Нас с Гаррисом смущает в этом деле больше всего то, что куртка будет привлекать к нашей лодке всеобщее внимание.



Нарядные барышни тоже недурно выглядят в лодке. По-моему, нет ничего более приятного для глаза, чем сшитый со вкусом «лодочный костюм». Но «лодочный костюм» – пусть меня правильно поймут дамы – это костюм для катанья на лодке, а не для сидения под стеклянным колпаком. Если вы возьмете с собою в лодку особ, которые больше интересуются своим туалетом, чем предстоящей прогулкой, то можете не сомневаться, что все удовольствие будет испорчено. Однажды я имел несчастье участвовать в прогулке по реке с двумя такими барышнями. Ну и веселая же прогулочка у нас получилась!

Обе расфуфырились в пух и прах – шелка, кружева, цветы и ленты, изящные туфельки и светлые перчатки. Они нарядились для фотографирования, а не для пикника. На них были «лодочные костюмы» с французской модной картинки. Смешно подумать, чтобы дама в таком платье могла войти в соприкосновение с реальной землей, или водой, или воздухом.

Началось с того, что им почудилось, будто в лодке недостаточно чисто. Мы тщательнейшим образом вытерли скамейки и уверяли их, что в лодке совершенно чисто, но они продолжали сомневаться.

Одна из них прикоснулась к сиденью пальчиком, обтянутым перчаткой, и показала результат исследования своей подруге; обе вздохнули и уселись с видом мучениц первых веков христианства, старающихся поудобнее устроиться на кресте. При гребле как ни старайся, а все-таки нет-нет да и брызнешь; а тут выяснилось, что одна капля воды может безнадежно погубить туалеты наших дам: пятно, видите ли, не отходит и остается на платье на вечные времена.

Я греб на корме. Я проявлял фантастическую осторожность. Я задирал лопасти весел на два фута и после каждого взмаха делал паузу, чтобы с них стекала вода, а погружая их снова, выискивал всякий раз на воде место поспокойнее. Мой товарищ, который греб на носу, вскоре бросил весла, заявив, что не чувствует себя достаточно искусным гребцом, чтобы быть мне подходящим партнером, и что, если я не возражаю, он будет приглядываться к моему методу гребли. Его этот метод чрезвычайно заинтересовал.

Но, несмотря на все мои усилия, я не мог избежать случайных всплесков, и несколько брызг все же попало на платья наших спутниц.

Барышни не жаловались, но они тесно прижались друг к другу и поджали губы; они вздрагивали и болезненно морщились всякий раз, когда брызги летели в их сторону. Видя, как они безмолвно переносят мучения, я проникался глубоким уважением к величию их духа, но в то же время, глядя на них, все больше расстраивался. У меня очень чувствительная натура. От волнения я стал грести более порывисто и судорожно, и чем старательнее я греб, тем чаще брызги летели из-под весел.

Наконец я сдался. Я сказал, что пересяду на нос. Мой партнер согласился, что так и в самом деле, пожалуй, будет лучше, и мы поменялись местами. Дамы не могли удержаться от вздоха облегчения, когда увидели, как я пересаживаюсь подальше, и даже на мгновение оживились. Бедняжки! Уж лучше бы им было примириться со мной! Теперь на мое место уселся беззаботный, разудалый, толстокожий малый, у которого чувство сострадания к ближнему было развито не в большей мере, чем у ньюфаундлендского щенка. Вы можете смотреть на него испепеляющим взором битый час, а он и не заметит этого; впрочем, даже если и заметит, то нимало не смутится. Он начал лихо вскидывать весла, поднимая над лодкой фонтан брызг, что заставило наших спутниц оцепенеть в неестественно напряженных позах. Каждый раз, окатив один из нарядных туалетов порядочной порцией воды, он любезно улыбался, весело говорил: «Прошу прощения!» – и предлагал свой носовой платок для того, чтобы вытереть платье.

«О, не беспокойтесь!» – шептали в ответ несчастные барышни, закрываясь пледами и мантильями и пытаясь заслониться от брызг кружевными зонтиками.

А сколько натерпелись бедняжки, когда мы устроились позавтракать! Их приглашали усесться на траву, но трава была для них слишком пыльная, а стволы деревьев, к которым им предлагали прислониться, видимо, уже давно никто не чистил щеткой. И они расстелили на земле свои носовые платочки и уселись на них так прямо, как будто проглотили аршин. Один из нас, неся на тарелке пирожки с мясом, споткнулся о корень, и пирожки рассыпались. К счастью, ни один пирожок не задел девиц, но это происшествие указало им еще на одну опасность, и они опять разволновались. После этого, если кто-нибудь из нас приподнимался,

держа в руках что-нибудь такое, что могло упасть и натворить беду, барышни с тревогой следили за ним глазами, пока он не садился снова.

«А ну-ка, девушки, – сказал мой веселый приятель, когда завтрак был съеден, – теперь давайте мыть посуду».

Сперва они его не поняли. Когда смысл этой фразы дошел до них, они сказали, что плохо представляют себе, как моют посуду.

«О, я вам сейчас покажу! – воскликнул он. – Это превесело! Надо лечь на… гм, я хотел сказать, наклониться к воде и сполоснуть посуду в реке».

Старшая из барышень сказала, что для подобной работы у них, к сожалению, нет подходящей одежды.

«Ничего, сойдет и эта, – беззаботно ответил он, – только подоткните подолы!»

И он таки заставил их вымыть посуду. Он внушил им, что в этом главная прелесть пикника. Барышни согласились, что это очень интересно.

Теперь, вспоминая весь эпизод, я начинаю сомневаться: в самом ли деле мой приятель был таким беспросветным тупицей, каким казался? А что, если… Да нет, не может быть! Ведь его лицо излучало поистине младенческое простодушие!



Гаррис захотел сойти на берег у Хэмптонской церкви, чтобы взглянуть на могилу миссис Томас.

– А кто такая миссис Томас? – осведомился я.

– Почем я знаю? – ответил Гаррис. – Это дама, у которой презабавный памятник, и я хочу на него посмотреть.

Я запротестовал. Может быть, у меня извращенная натура, но я не чувствую никакого пристрастия к памятникам. Я знаю: когда путешественник приезжает в незнакомый город или селение, принято, чтобы он тотчас бросался со всех ног на кладбище и наслаждался лицезрением могил. Но я не любитель этого веселого времяпрепровождения. У меня нет ни малейшего интереса к тому, чтобы таскаться вслед за каким-нибудь пыхтящим от одышки старым грибом вокруг хмурой, наводящей тоску церкви и читать эпитафии. Даже тогда, когда

трогательные изречения нацарапаны на медяшке, привинченной к каменной глыбе, я не в состоянии прийти от этого в экстаз.

Абсолютное самообладание, которое мне удается сохранять перед лицом самых душераздирающих надписей, приводит в содрогание всех добропорядочных могильщиков, а пониженная любознательность по отношению к местным семейным преданиям и плохо скрываемое стремление выбраться из-за церковной ограды оскорбляют их лучшие чувства.

Однажды в сияющее солнечное утро я стоял, прислонившись к низкой каменной стене, служившей оградой маленькой деревенской церкви, и курил, погруженный в спокойное, счастливое созерцание. Моим глазам представлялась очаровательная мирная картина: старинная серая церковь, заросшая плющом, ее украшенные причудливой резьбой дубовые двери, дорога, вьющаяся белой лентой по склону холма и обсаженная двумя рядами высоких вязов, крытые соломой домики, выглядывающие из-за аккуратных изгородей, серебряная речка в долине, а на горизонте лесистые холмы.

Это был чудесный пейзаж. От него веяло нежностью и поэзией. Он вдохновлял меня. Я чувствовал, что становлюсь добрым и благородным. Я чувствовал, что готов отречься от зла и греха. Я поселюсь здесь, и меня осенит благодать, и жизнь моя будет прекрасной и достойной хвалы, и я состарюсь, и меня украсят почтенные седины, и тому подобное.

И в эту минуту я простил своим родным и друзьям их прегрешения и благословил их. Они не знали, что я их благословил. Они продолжали идти по стезе порока, не ведая того, какое добро я творю для них в этом далеком мирном селенье. Но все-таки я творил для них добро и считал, что должен уведомить их о том, что сотворил добро, ибо я желал осчастливить их. Вот какие высокие и гуманные размышления переполняли мою душу и переливались через край, когда вдруг меня вывел из задумчивости чей-то пронзительный пискливый голос:

«Сию минуту, сэр! Бегу, бегу! Погодите, сэр! Сию минуту!»

Я оглянулся и увидел лысого старикашку, который торопливо ковылял по кладбищу, направляясь ко мне. В его руке была гигантская связка ключей, которые громыхали при каждом его шага.

Величественным мановением руки я велел ему удалиться, но он тем не менее приближался, истошно крича:

«Иду, иду, сэр! Я, видите ли, прихрамываю. Да, старость не радость, сэр! Прошу сюда, сэр!..»

«Прочь, несчастный старец!» – промолвил я.

«Я уж и так спешил, сэр, – ответил он. – Моя благоверная только сейчас вас заприметила. Идите за мной, сэр».

«Прочь, – повторил я, – оставьте меня в покое, или я перелезу через стену и убью вас».

Он оторопел.

«Вы не хотите осмотреть памятники?» – спросил он.

«Не хочу, – ответил я. – Я хочу стоять здесь, прислонившись к этой старой каменной стене. Уходите, вы меня отвлекаете. Моя душа – средоточие великих и благородных помыслов, и я не желаю рассеиваться, ибо ощущаю благодать. Не вертитесь тут под ногами и не выводите меня из себя, разгоняя мои лучшие чувства дурацкой болтовней об этих идиотских памятниках. Убирайтесь, и если кто-нибудь не слишком дорого возьмет за то, чтобы вас похоронить, – я оплачу половину расходов».



Старик на мгновение растерялся. Он протер глаза и воззрился на меня. С виду я был человек как человек. Он ничего не понимал.

Он сказал:

«Вы приезжий? Вы здесь не живете?»

«Нет, – ответил я, – не живу. Если бы *я* здесь жил, то *вы* бы уже здесь не жили».

«Так, значит, вы желаете осмотреть памятники… могилки… понимаете? – гробы, покойнички…»

«Вы шарлатан! – сказал я, начиная раздражаться. – Я не желаю осматривать памятники. Никаких памятников. К чему это мне? У нас есть свои семейные памятники. Памятник дяде Поджеру на кладбища Кенсэл-Грин – гордость всего прихода. А в склепе моего дедушки в Бау может поместиться десяток посетителей. А в Финчли у моей двоюродной бабушки Сусанны кирпичный саркофаг с надгробием, украшенным чем-то вроде кофейника, и одна только дорожка вокруг могилы, выложенная белым камнем, стоила бешеных денег. Когда я желаю полюбоваться на памятники, я отправляюсь туда и упиваюсь этим зрелищем. Чужих мне не надо. Когда вас похоронят, я, так и быть, приду посмотреть на вашу могилу. Это все, что я могу для вас сделать».

Старик зарыдал. Он сообщил, что один из памятников увенчан каким-то обломком, о котором толкуют, будто он был частицей окаменевшего человека, а на другом памятнике выгравирована надпись, которую до сих пор никто не смог разобрать.

Но я был неумолим, и старик сказал дрожащим голосом:

«Но все-таки вы посмотрите историческое окно?»

Я отказался даже от исторического окна, и тут он выпустил свой последний козырь. Он подошел ко мне вплотную и хрипло прошептал:

«Там, в склепе под церковью, у меня припрятана парочка черепов. Так и быть, можете на них взглянуть. Пойдемте, посмотрите на черепа. У вас ведь каникулы, молодой человек, и вам необходимо развлечься. Я покажу вам черепа!»

Тут я обратился в бегство и долго еще слышал за своей спиной жалобные призывы:

«Пойдемте, я покажу вам черепа! Вернитесь и взгляните на черепа!»



Но Гаррис обожает памятники, склепы, надгробия и эпитафии, и от мысли, что он может не увидеть могилы миссис Томас, он совершенно взбеленился. Он заявил, что мечтал о посещении могилы миссис Томас с той самой минуты, когда впервые зашла речь о нашей поездке: он сказал, что никогда бы не принял участия в нашем путешествии, если бы не имел в виду посетить место вечного успокоения миссис Томас.

Я напомнил ему о Джордже и о том, что мы должны встретиться с ним в Шеппертоне и что надо туда добраться к пяти часам. Тогда Гаррис напустился на Джорджа. Какого черта Джордж целый день валяет дурака и заставляет нас одних таскать взад и вперед по реке эту громоздкую дряхлую посудину, для того чтобы, изволите ли видеть, где-то его еще встречать? Какого черта Джордж не является, чтобы тоже немного потрудиться? Какого черта он не взял отпуск на сегодняшний день, чтобы ехать всем вместе? Чтоб он лопнул, этот банк! И на кой дьявол сдался Джордж этому банку?

– Сколько раз я туда ни заходил, – добавил Гаррис, – ни разу не видел, чтобы Джордж делал там что-нибудь путное. Он сидит целый день за стеклянной перегородкой и делает вид, будто что-то делает. Какая может быть польза от человека, который сидит за стеклянной перегородкой? Вот я, например, в поте лица зарабатываю свой хлеб. А почему он не может работать? Кому он там нужен, и на что вообще нужны все эти банки? Отдаешь им свои трудовые гроши, а когда хочешь получить по чеку, то они возвращают его назад, исчиркав вдоль и поперек дурацкими надписями вроде: «счет исчерпан» или «обращайтесь к чекодателю». Какой от этого прок? Такую штуку они сыграли со мной дважды на одной только прошлой неделе. Я не собираюсь терпеть эти издевательства. Я выну свой вклад. Если бы Джордж был с нами, мы могли бы сделать остановку и посмотреть памятник миссис Томас. Я вообще не очень-то верю, что он сейчас сидит в банке. Не сомневаюсь, что он шляется где-нибудь, а нас заставляет за себя работать. Я должен выйти на берег и промочить горло.

Я заметил, что на расстоянии нескольких миль нет ни одного питейного заведения. Тогда Гаррис принялся поносить Темзу и спрашивать, какая, к черту, польза от реки и почему человек, оказавшийся на реке, должен умирать от жажды?

В таких случаях лучше всего не перечить Гаррису и дать ему поговорить. Он высказывает все, что у него накипело, выдыхается и становится после этого совсем смирным.

Я напомнил ему, что в корзине имеется сгущенный лимонад, а на носу стоит целый бидон воды и что обе эти субстанции только и ждут, когда их смешают, чтобы превратиться в приятный прохладительный напиток.

Тогда Гаррис обрушился на лимонад, а заодно и на имбирное пиво, малиновый сироп и тому подобное, и обозвал все это «помоями, пригодными только для учеников воскресной школы». Он утверждал, что все эти напитки вызывают расстройство пищеварения, содействуют в равной степени как физическому, так и умственному вырождению и являются истинной причиной по крайней мере половины преступлений, совершающихся в Европе.

Тем не менее он заявил, что ему необходимо чего-нибудь выпить, и встал на скамейку и стал искать в высокой корзине бутылку с лимонадом.

Бутылка была на самом дне, и найти ее было нелегко, и он наклонялся над корзиной все ниже и ниже. Он пытался править лодкой, видя все вверх ногами, и потянул не за ту веревку, и лодка врезалась в берег, и от удара он потерял равновесие, и нырнул в корзину, и воткнулся

в нее головой, вцепившись-мертвой хваткой в борта лодки и растопырив ноги в воздухе. Он не смел пошевелиться от страха полететь в воду и должен был оставаться в такой позе, пока я не вытащил его из корзины за ноги.

Само собой разумеется, что это происшествие не улучшило его настроения.

Глава VIII

Вымогательство. – Как следует поступать в таких случаях. – Бесстыдный эгоизм прибрежных землевладельцев. – Проклятые доски. – Нехристианские чувства Гарриса. – Как Гаррис поет комические куплеты. – Вечер в изысканном обществе. – Недостойная выходка двух юных шалопаев. – Кое-какие бесполезные справки. – Джордж покупает банджо.

Мы причалили у Хэмптон-парка, под ивами, чтобы позавтракать. Это прелестное местечко. Высокие зеленые берега здесь полого сбегают к воде, над которой склоняются ивы. Только мы приступили к третьему блюду – хлебу с вареньем, как перед нами предстал какой-то джентльмен в жилете, с короткой трубкой в зубах и осведомился, известно ли нам, что мы нарушили границу чужих владений. Мы ответили, что еще не успели настолько тщательно исследовать этот вопрос, чтобы иметь возможность прийти к окончательному заключению, но если он может дать слово джентльмена, что мы действительно нарушили границу чужих владений, то мы поверим ему без всяких колебаний. Он дал нам требуемые заверения, и мы поблагодарили его, но он продолжал торчать возле нас и явно был чем-то недоволен, так что мы спросили, не можем ли мы быть ему еще чем-нибудь полезными, а Гаррис, человек общительный, предложил ему кусок хлеба с вареньем.

Я подозреваю, что этот джентльмен принадлежал к какому-то обществу воздержания от хлеба с вареньем, потому что он отверг угощенье так свирепо, как будто речь шла о покушении на его добродетель; и он добавил, что его долг – вытурить нас в шею.

Гаррис сказал, что если таков его долг, то несомненно следует его выполнить, и спросил, какие средства для этого являются, с его точки зрения, наилучшими. А Гаррис, скажу я вам, мужчина крепкого сложения, саженного роста и с виду кажется сильным и здоровым. Незнакомец смерил его взглядом и сказал, что сходит посоветоваться с хозяином, а потом вернется и швырнет нас обоих в реку.

Конечно, мы его больше не видели, и, конечно, ему просто нужен был шиллинг. На берегу Темзы всегда водятся жулики, которые летом неплохо зарабатывают, слоняясь по берегу и вымогая вышеуказанным образом деньги у малодушных простаков. Они заявляют, что их послал землевладелец. Лучше всего в этом случае сообщить свое имя и адрес и дать возможность собственнику, если он действительно к этому причастен, вызвать вас в суд, а уж там пусть он доказывает, какой убыток вы причинили ему, посидев на клочке его земли. Но большинство людей так ленивы и трусливы, что предпочитают поощрять мошенничество, поддаваясь ему, вместо того чтобы проявить известную твердость и пресечь его раз и навсегда.

Когда землевладельцы и в самом деле вас притесняют – их надо ставить на место. Эгоизм хозяев прибрежных участков возрастает год от года. Дай только им волю, и они вообще загородят всю Темзу. А пока они это делают с притоками и заводями. Они забивают в дно сваи, с одного берега на другой протягивают цепи и ко всем деревьям прибивают огромные доски с запрещением высаживаться на берег. Вид этих досок пробуждает во мне все дурные инстинкты. У меня руки чешутся, – так бы и сорвал такую доску и колотил бы ею по башке того, кто ее повесил, пока он не испустит дух, и тогда я похоронил бы его и водрузил бы эту доску над его могилой вместо памятника.

Я поделился своими чувствами с Гаррисом, и он заметил, что принимает все это еще ближе к сердцу. Он сказал, что чувствует желание не только бить того, кто прибил доску, но заодно перерезать всех членов его семьи, всех его друзей и родственников, а потом сжечь его дом. Мне показалось, что Гаррис тут переборщил, и я ему об этом сказал, но он ответил:

– Ничуть! А когда они все сгорят, я с удовольствием спою на пепелище комические куплеты.

Меня огорчило, что у Гарриса такие кровожадные наклонности. Мы не должны допускать, чтобы чувство справедливости вырождалось в примитивную мстительность. Мне пришлось потратить немало времени, внушая Гаррису более христианский взгляд на сей предмет, но в конце концов я в этом преуспел, и он обещал мне, что при всех обстоятельствах он пощадит друзей и родственников и не будет петь комических куплетов на пепелище.

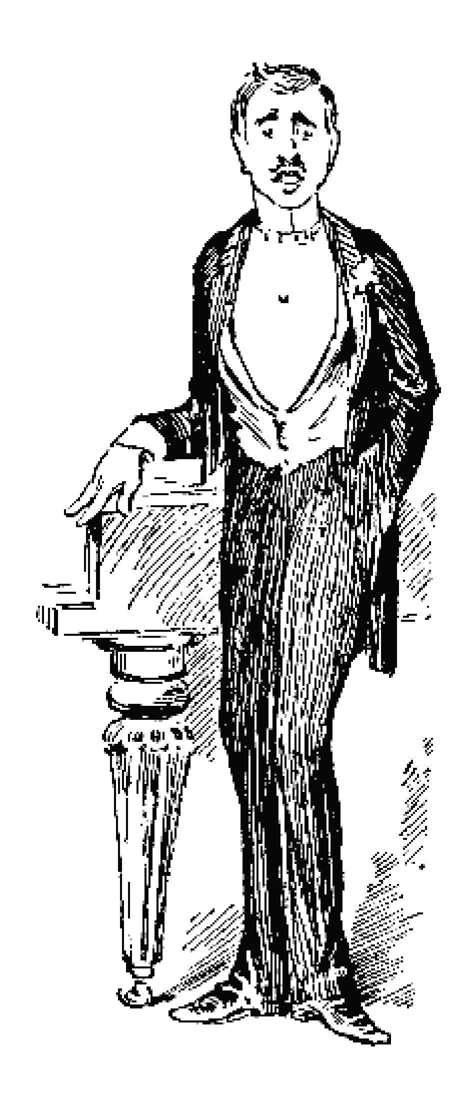
Если бы вы когда-нибудь услышали, как Гаррис исполняет комические куплеты, вы бы поняли, какую услугу я оказал человечеству. Гарриса преследует идея, что он *умеет* петь комические куплеты. Наоборот, друзей Гарриса, слышавших его потуги, преследует не менее навязчивая идея, что он *не умеет* и никогда не будет уметь петь и что надо пресекать все его попытки в этом направлении.

Когда Гаррис бывает в гостях и его просят спеть, он отвечает:

«Собственно, я ведь исполняю только комические куплеты», – и всем своим видом он дает понять, что зато он так их поет, что достаточно один раз его послушать, и можно спокойно умереть.

«Ах, это очень мило, – говорит хозяйка. – Спойте нам что-нибудь, мистер Гаррис».

И Гаррис встает и подходит к фортепиано с сияющей улыбкой великодушного благодетеля, который собирается кого-то чем-то одарить.



«Прошу тишины, – говорит хозяйка, обращаясь к гостям. – Мистер Гаррис будет петь комические куплеты».

«Ах, как интересно», – шепчутся гости, и они покидают оранжерею, и спешат наверх, и распространяют эту новость по всему дому, и толпой входят в гостиную, и рассаживаются, и, предвкушая удовольствие, расплываются в улыбках.

И вот Гаррис начинает. Конечно, для исполнения комических куплетов большой голос не обязателен. Никто не ждет также хорошей вокальной техники и правильной фразировки. Неважно, если певец, беря ноту, вдруг обнаруживает, что забрался высоковато, и стремглав срывается вниз. Не стоит обращать внимания на темп. Вы не упрекаете певца за то, что, обогнав аккомпанемент на два такта, он вдруг замолкает на середине фразы, чтобы посовещаться с аккомпаниатором, а потом начинает все сначала. Но вы вправе рассчитывать на слова. Вы никак не ожидаете, что певец знает только первые три строчки первого куплета и все время повторяет их, пока не вступает хор. Вы не ожидаете, что он может вдруг остановиться посредине фразы, фыркнуть и заявить, что, как это ни забавно, но, провалиться ему на этом месте, если он помнит, как там дальше; он несет какую-то отсебятину, а потом, дойдя почти до конца песенки, вдруг вспоминает забытые слова, без всякого предупреждения останавливается, начинает сначала, и так все идет через пень-колоду. Вы не ожидаете… Впрочем, я сейчас изображу вам, как Гаррис поет комические куплеты, и вы сможете составить об этом собственное суждение.

Гаррис (стоя у фортепиано и обращаясь к ожидающей публике). В общем, это, собственно, старовато. Вы все, в общем, это, наверно, знаете. Но я ничего другого, собственно, не знаю. Это песенка судьи из «Передника»… впрочем, нет, я имею в виду не «Передник», я имею в виду… да вы, конечно, знаете, что я имею в виду, эта… ну как ее… Конечно, вы все будете подпевать мне хором.

Шепот восторга и страстное желание слиться в хоре. Нервный аккомпаниатор блестяще исполняет вступление к песенке судьи из «Суда присяжных». Гаррису пора вступать. Он этого не замечает. Нервный аккомпаниатор хочет повторить вступление, а Гаррис сразу же начинает петь и мгновенно выпаливает две Строчки куплетов адмирала из «Передника». Нервный аккомпаниатор стремится все же доиграть вступление, отказывается от этого намерения, пытается следовать за Гаррисом, играя аккомпанемент песенки судьи из «Суда присяжных», видит, что дело не клеится, пытается сообразить, что к чему, чувствует, что теряет рассудок, и неожиданно останавливается.

Гаррис (любезно и ободряюще). Все идет прекрасно. Вы очень хорошо аккомпанируете… Продолжим.

Нервный аккомпаниатор . Здесь, кажется, какое-то недоразумение… Что вы поете?

Гаррис (не задумываясь). Что за вопрос? Песенку судьи из «Суда присяжных». Разве вы ее не знаете?

Один из приятелей Гарриса (из задних рядов). Да ничего подобного, дурья башка, ты же поешь песенку адмирала из «Передника».[17]

Длительные препирательства между Гаррисом и его приятелем о том, что именно Гаррис поет. В конце концов приятель склоняется к тому, что это неважно, лишь бы Гаррис продолжал то, что начал, и Гаррис с видом человека, истерзанного несправедливостью, просит пианиста начать сначала. Аккомпаниатор играет вступление к песенке адмирала, и Гаррис, дождавшись подводящего, по его мнению, момента, начинает:

…Я в мальчиках почтенным стал судьей…

Общий взрыв хохота, принимаемый Гаррисом за одобрение. Аккомпаниатор, вспомнив о жене и близких, отказывается от неравной борьбы и ретируется, а на его место садится более выносливый человек.

Новый аккомпаниатор (бодро). Валяйте, дружище, а я буду вам подыгрывать. К черту вступление!

Гаррис (до которого наконец дошло, что происходит, смеясь). Бог ты мой! Прошу прощенья… Ну, конечно, у меня просто перепутались эти две песни. Это, конечно, Дженкинс меня сбил. Ну, давайте!

Поет. Голос его гудит, как из погреба, и напоминает приближающееся землетрясение.

Я в мальчиках когда-то

Служил у адвоката.

(В сторону, аккомпаниатору). Возьмем немножко выше, старина, и начнем еще разок сначала.

Снова поет первые две строчки, на этот раз высоким фальцетом. В публике удивление. Впечатлительная старушка, сидящая у камина, начинает рыдать, и ее приходится увести.

Гаррис (продолжает).

Я мыл в конторе окна,

И вот случилось вскоре…

Нет, нет…

Я окна мыл в конторе,

И вскоре…

Тьфу, черт подери, извините меня, но, странное дело, я никак не могу вспомнить эту строчку. Я… я… Ну, ладно, попробуем перейти прямо к припеву (поет).

И я в сраженья, тра-ля-ля,

Теперь веду флот короля.

Ну-ка, подтяните хором последние две строчки!

Все (хором).

И он в сраженья, тра-ля-ля,

Теперь ведет флот короля.

И Гаррис так и не замечает, каким он выглядит идиотом и как докучает людям, которые ничего плохого ему не сделали. Он совершенно уверен, что доставил им удовольствие, и обещает спеть после ужина еще одну комическую песенку.

Я заговорил о комических куплетах и вечеринках, и мне вспомнилась одна прелюбопытная история, участником которой я был. Так как история эта проливает яркий свет на некие психологические процессы, свойственные человеческой натуре вообще, то она должна быть увековечена на этих страницах.

Собралось как-то небольшое общество вполне светских и интеллигентных людей. Все мы были прекрасно одеты, вели приятную беседу и чувствовали себя наилучшим образом – все, кроме двух юных студентов, недавно вернувшихся из Германии, совершенно заурядных молодых людей. Им было как-то не по себе – казалось, что они томятся, – а на самом деле мы были просто слишком умны для них. Наша блестящая, но чересчур изысканная беседа, наши утонченные вкусы были выше их понимания. В этом обществе они были не на месте; им вовсе не следовало быть среди нас. Впоследствии все это признали.

Мы играли фрагменты из произведений старинных немецких композиторов. Мы обсуждали философские и этические проблемы. Мы изящно ухаживали за дамами. И острили – необычайно тонко.

После ужина кто-то прочитал французское стихотворение, и оно привело нас в восторг; потом одна дама спела чувствительную балладу на испанском языке, и кое-кто из нас даже прослезился, – до того это было, трогательно.

И вдруг вышеупомянутые молодые люди осмелели и спросили, не приходилось ли нам слышать, как герр Слоссен-Бошен (который только что приехал и сидел внизу в столовой) поет одну восхитительную немецкую комическую песенку.

Насколько мы могли припомнить, нам этого слышать не приходилось. Молодые люди утверждали, что это была самая смешная песенка на свете и что, если мы хотим, то они попросят герра Слоссен-Бошена (с которым они хорошо знакомы) спеть нам ее. Это такая смешная песня, говорили они, что когда герр Слоссен-Бошен спел ее однажды в присутствии германского императора, его (германского императора) пришлось отнести в постель.

Они говорили, что никто не поет ее так, как герр Слоссен-Бошен. Во время исполнения он сохраняет такую торжественную серьезность, что можно подумать, будто он читает трагический монолог, и от этого все, конечно, становится еще более уморительным. Они говорили, что вы никогда не могли бы заподозрить ни по его голосу, ни по его поведению, что он поет нечто смешное, – этим он бы все испортил. Именно эта серьезность и даже некоторая торжественность и составляют всю прелесть его исполнения.

Мы сказали, что жаждем его услышать, что нам хочется всласть посмеяться, и они сбегали вниз и привели герра Слоссен-Бошена.

По-видимому, он ничего не имел против того, чтобы спеть, потому что немедленно пришел к нам наверх и, ни слова не говоря, сел за фортепиано.

«Ну, он вас сейчас распотешит! Уж вы посмеетесь», – шепнули нам молодые люди, проходя через комнату, чтобы занять скромную позицию за спиной профессора.

Герр Слоссен-Бошен аккомпанировал себе сам. Нельзя сказать, что вступление было очень подходящим для комических куплетов. Мелодия была какая-то мрачная и заунывная, от нее пробегали мурашки по коже. Но мы шепнули друг другу, что вот она – немецкая манера смешить, и приготовились ею наслаждаться.

По-немецки я не понимаю ни слова. Меня учили этому языку в школе, но, окончив ее, я уже через два года начисто все забыл и с тех пор чувствую себя гораздо лучше. Однако мне очень не хотелось обнаружить мое невежество перед присутствующими. Поэтому я придумал план, показавшийся мне очень остроумным. Я не спускал глаз со студентов и делал то же, что они. Они фыркали – и я фыркал, они смеялись – и я смеялся. Кроме того, время от времени я позволял себе хохотнуть, как если бы только я один заметил какие-то пикантные детали, ускользнувшие от других. Мне казалось это очень ловким приемом.

Я заметил, что во время пения многие из присутствующих, так же как и я, не спускали глаз с юных студентов. Когда студенты фыркали, они тоже фыркали, когда студенты хохотали, они тоже хохотали. А так как во время пения эти молодые люди непрерывно фыркали, хохотали и покатывались со смеху, то все шло наилучшим образом.

И несмотря на это, немецкий профессор, казалось, был чем-то недоволен. Вначале, когда мы стали смеяться, на его лице отразилось крайнее удивление, как будто он ожидал всего чего угодно, но только не смеха. Нам это показалось очень забавным: мы решили, что в этой его невозмутимой серьезности и заключается самое смешное. Если он чем-нибудь выдаст, что понимает, как это смешно, – пропадет весь эффект. Мы продолжали смеяться, и его удивление сменилось выражением досады и негодования. Он свирепо посмотрел на всех нас (кроме тех двух молодых людей, которых он не мог видеть, потому что они сидели за его спиной). Тут мы чуть не лопнули от смеха. Мы говорили, что эта штука нас уморит. Одних только слов, говорили мы, было бы довольно, чтобы довести нас до судорог, а тут еще эта шутовская серьезность, – нет, это уже слишком.

Во время исполнения последнего куплета он превзошел самого себя. Он сверкнул на нас таким лютым взглядом, что, не знай мы заранее немецкой манеры петь комические куплеты, мы бы испугались. Между тем он придал своей странной мелодии столько надрывней тоски, что если бы мы не знали, какая это веселая песенка, мы бы зарыдали.

Он кончил под взрывы страшного хохота. Мы говорили, что в жизни не слышали ничего смешнее. И как только некоторые могут считать, удивлялись мы, что у немцев нет чувства юмора, когда существуют такие песенки. И мы спросили профессора, почему бы ему не перевести эту песенку на английский язык, чтобы все могли ее понимать и узнали бы наконец, что такое настоящие комические куплеты.

И тут Слоссен-Бошен взорвался. Он ругался по-немецки (язык этот, по-моему, как нельзя более пригоден для подобной цели), он приплясывал, он размахивал кулаками, он поносил нас всеми ему известными английскими бранными словами. Он кричал, что никогда в жизни его еще так не оскорбляли.

Выяснилось, что его песня – вовсе не комические куплеты. В ней, видите ли, пелось о юной деве, которая обитала в горах Гарца и которая отдала жизнь ради спасения души своего возлюбленного. Он умер, и их души встретились в заоблачных сферах, а потом, в последней строфе, он обманул ее душу и улизнул с другой душой. Я не ручаюсь за подробности, но это наверняка было что-то очень грустное. Герр Бошен сказал, что он пел эту песню однажды в присутствии германского императора, и он (германский император) рыдал, как малое дитя. Он (герр Бошен) сказал, что эта песня считается одной из самых трагических и трогательных немецких песен.

Мы оказались в ужасном, совершенно ужасном положении. Что тут можно сказать? Мы оглядывались, ища молодых людей, которые сыграли с нами эту штуку, но они незаметно ускользнули, как только пение прекратилось.

Вот как закончился этот вечер. Первый раз в жизни я видел, чтобы гости расходились так тихо и поспешно. Мы даже не простились друг с другом. Мы спускались поодиночке, ступали неслышно и старались держаться неосвещенной стороны лестницы. Мы шепотом просили лакея подать пальто и шляпу, сами открывали дверь, выскальзывали на улицу и быстро сворачивали за угол, по возможности избегая друг друга.

С тех пор я никогда не проявлял большого интереса к немецким песням.

Мы добрались до Санберийского шлюза в половине четвертого. У шлюза река очень красива, а отводный канал удивительно живописен, но не вздумайте идти здесь на веслах вверх по течению.

Однажды я попытался это сделать. Я сидел на веслах и спросил у приятелей, устроившихся на корме, считают ли они осуществимым такое предприятие. Они ответили, что это безусловно возможно, если я возьмусь за дело как следует. Мы находились как раз под пешеходным мостиком, перекинутым с одного берега на другой.

Я собрался с силами и налег на весла. Греб я замечательно. Я сразу вошел в быстрый железный ритм. Я усердствовал руками, ногами и всеми прочими частями тела. Я работал веслами лихо, энергично, мощно. Оба мои товарища говорили, что смотреть на меня – одно удовольствие. Через пять минут я поднял глаза, считая, что мы уже у ворот шлюза. Мы находились под мостом, тютелька в тютельку на том месте, где были вначале, а эти два болвана надрывались от дикого хохота. Как последний дурак я разбивался в лепешку для того, чтобы наша лодка по-прежнему торчала под этим мостом. Нет уж, пусть теперь другие пробуют грести на быстрине против течения.

Мы добрались до Уолтона, сравнительно большого прибрежного городка. Как и во всех прибрежных местечках, к реке выходит только ничтожный уголок города, так что с лодки может показаться, что это всего-навсего деревушка, в которой полдюжины домов. Между Лондоном и Оксфордом, пожалуй, только Виндзор и Эбингдон можно рассмотреть с реки по-настоящему. Все остальные городки прячутся за углом и только одной какой-нибудь улочкой выглядывают на реку. Поблагодарим их за то, что они так скромны и уступают берега лесам, полям и водопроводным станциям.

Даже у Рединга, хотя он из кожи вон лезет, чтобы испортить, загадить, изуродовать возможно большую часть берега, хватает великодушия, чтобы скрыть почти всю свою безобразную физиономию.

У Цезаря, конечно, что-нибудь было около Уолтона: лагерь, укрепление или какая-нибудь другая штука в таком роде. Цезарь был великим любителем подниматься по рекам. Королева Елизавета тоже бывала здесь. От этой женщины вам не отвязаться, где бы вы ни оказались. Жили здесь также Кромвель и Брэдшо[18] (не тот Брэдшо, который возглавляет наших гидов, а тот, который обезглавил нашего короля Карла). Приятная компания, нечего сказать!

В церкви Уолтона показывают железную «узду для сварливых женщин». Такими вещами пользовались в старину для обуздания женских языков. В наше время от подобных опытов отказались. Видимо, железа сейчас не хватает, а всякий другой материал недостаточно прочен.

Есть в этой церкви также достойные внимания могилы, и я боялся, что мне будет трудно оторвать от них Гарриса. Но он как будто о них не помышлял, и мы двинулись дальше. Выше моста река становится необычайно извилистой, что делает ее очень живописной, но с точки зрения гребца или человека, тянущего бечеву, это обстоятельство весьма омрачает жизнь; оно ведет к бесконечным спорам между гребцом и рулевым.

На правом берегу вы видите Оутлэнд-парк. Это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII стянул его у кого-то (я уже забыл, у кого именно) и поселился в нем. В парке имеется грот, который за плату можно осмотреть и который стяжал себе громкую славу; однако, на мой взгляд, в нем нет ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, жившая в Оутлэнде, обожала собак; у нее было их видимо-невидимо. Когда они околевали, сна хоронила их на

специальном кладбище, и всего их там покоится около пятидесяти штук, и над каждой собакой – надгробная плита, а на ней – эпитафия.

Впрочем, мне кажется, что они достойны этого не меньше, чем любой средний христианин.

У Коруэй-стэйкса – первой излучины выше Уолтонского моста – произошло сражение между Цезарем и Кассивеллауном.[19] Готовясь встретить Цезаря, Кассивеллаун забил в реку множество кольев и, несомненно, прибил к ним доски с запрещением высаживаться. Однако Цезарь, несмотря на это, переправился на другой берег. Помешать ему перейти реку было невозможно. Цезарь! – вот кого нам не хватает для успешной борьбы с прибрежными землевладельцами.

Хэллифорд и Шеппертон со стороны реки тоже очень милы, но ни в том, ни в другом нет ничего интересного. Есть, правда, на шеппертонском кладбище памятник, украшенный стихами, и я очень боялся, как бы Гаррис не вздумал вылезти на берег, чтобы поглазеть на него. Когда мы приблизились к пристани и я увидел, каким жадным взглядом он уставился на нее, я изловчился и сбросил его шапочку в воду. Добывая ее и негодуя на мою неуклюжесть, Гаррис совсем забыл о любезных его сердцу могилах.

Возле Уэйбриджа река Уэй (славная речушка, по которой лодки могут подниматься до Гилдфорда; одна из тех, которую я давно уже хотел обследовать, да все не могу собраться), река Бурн и Бэзингстокский канал соединяются и все вместе впадают в Темзу. Шлюз находится как раз напротив городка, и первое, что нам бросилось в глаза, когда мы к нему подъехали, была маячившая у одного из створов шлюза куртка Джорджа. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сам Джордж находится внутри нее. Монморанси принялся бешено лаять. Я закричал. Гаррис завопил. Джордж стал махать шляпой и заорал нам в ответ. Сторож шлюза выскочил с багром, убежденный, что кто-то свалился в воду, и был очень разочарован, обнаружив, что все благополучно.

У Джорджа в руках был довольно странного вида предмет в клеенчатом футляре. Он был круглый и плоский, из него торчала длинная прямая ручка.

– Что это у тебя, – спросил Гаррис, – сковорода?

– Нет, – ответил Джордж, и в глазах его появился какой-то странный, безумный блеск. – Это – последний крик моды. Все, кто проводит отдых на реке, берут его с собой… Это – банджо.

– Понятия не имел, что ты играешь на банджо! – воскликнули мы с Гаррисом в один голос.

– А я и не играю, – ответил Джордж. – Но мне говорили, что это очень просто. Кроме того, я достал самоучитель.



Глава IX

Джорджа заставляют работать. – Низменные инстинкты бечевы. – Черная неблагодарность четырехвесельной лодки. – Влекущие и влекомые. – Рациональное использование влюбленных. – Странное исчезновение пожилой леди. – Поспешишь – людей насмешишь. – Незабываемое переживание: вас тянут на бечеве барышни. – Пропавший шлюз, или заколдованная река. – Музыка. – Спасены!

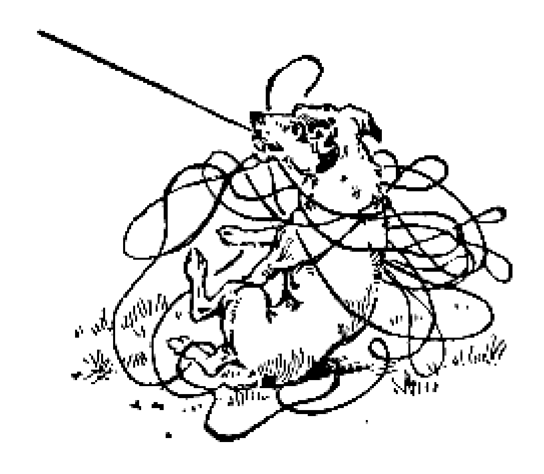
Теперь, когда Джордж оказался в наших руках, мы решили запрячь его в работу, Само собой разумеется, работать ему не хотелось. Он говорил, что ему, видите ли, пришлось порядочно потрудиться в Сити. Гаррис, человек по природе черствый и не склонный к состраданию, сказал:

– Ну что ж! А теперь для разнообразия тебе придется порядочно потрудиться на реке. Разнообразие полезно всем. А ну-ка! Вылезай!

По совести (даже по тому, что называлось совестью у Джорджа) он не мог возражать, но он заметил, что, может быть, лучше ему остаться в лодке и заняться приготовлением чая, в то время как Гаррис и я будем тянуть бечеву. Потому что, видите ли, приготовление чая – чрезвычайно изнурительный труд, а мы с Гаррисом и так уже достаточно устали. Однако мы, не вдаваясь в дискуссию, вручили ему бечеву, и он взял ее и вылез из лодки.

Странная и непостижимая вещь – бечева. Вы укладываете ее кольцами с таким великим терпением и осторожностью, как если бы вы складывали новые брюки, а через пять минут, когда вы снова берете ее, она уже превратилась в какой-то ужасный, омерзительный клубок.

Я не хочу прослыть клеветником, но я твердо уверен, что если взять самую обыкновенную бечеву, вытянуть ее на ровном месте по прямой линии, отвернуться на тридцать секунд, а потом посмотреть на нее снова, то окажется, что она уже умудрилась собраться в кучу, скрутиться, и завязаться узлами, и затерять оба конца, и превратиться в сплошные петли. И вам понадобится добрых полчаса, чтобы, сидя на траве и проклиная все на свете, снова ее распутать.



Таков мой взгляд на бечеву вообще. Несомненно, здесь могут встретиться и счастливые исключения; я не утверждаю, что их не бывает. Может быть, есть бечевы, являющиеся гордостью своего цеха, – добросовестные порядочные бечевы, которые не воображают, что они дамское рукоделье, и не пытаются сплестись в вязаную салфетку, как только остаются наедине с самими собой. Я говорю, что такие бечевы, может быть, и существуют. Я хочу надеяться, что они бывают. Но я с ними никогда не встречался…

Незадолго до того как мы подошли к шлюзу, я сам занялся нашей бечевой. Гаррис человек легкомысленный, и я бы не позволил ему даже дотронуться до бечевы. Я смотал ее медленно и осторожно, связал посередине, сложил вдвое и аккуратно положил на дно лодки. Гаррис ловко поднял ее и передал Джорджу. Джордж крепко вцепился в нее и, держа на расстоянии, стал разматывать ее так, как если бы он разворачивал пеленки новорожденного младенца. Но не успел он размотать и десяти ярдов, как вся эта штука стала необыкновенно похожа на плохо сплетенный веревочный половик.

Это обычная история, и всегда она кончается одним и тем же. Тот, кто на берегу занимается разматыванием бечевы, совершенно уверен, что во всем виноват тот, кто ее укладывал. А когда человек, плывущий по реке, что-нибудь думает, он сразу это высказывает.

«Что ты пытался из нее сделать? Рыболовную сеть? Недурной клубочек у тебя получился! Неужели ты не мог свернуть ее как следует, оболтус!» – ворчит он, отчаянно сражаясь с бечевой, раскладывая ее на тропинке и топчась вокруг клубка в поисках конца веревки.

С другой стороны, человек, который сматывал ее, уверен, что виноват во всей истории тот, кто пытается ее размотать.

«Ведь когда ты ее брал, она была в порядке! – негодующе восклицает он.

– Надо думать о том, что делаешь. Вечно у тебя все получается черт знает как. Ты даже верстовой столб умудришься завязать узлом, с тебя станется!»

И оба так злятся, что готовы повесить друг друга на пресловутой бечеве. Проходит минут десять – и вдруг распутывающий бечеву издает страшный вопль и начинает бесноваться. Он топчет веревку, потом в остервенении хватается за первый попавшийся под руку кусок и тянет его к себе. Естественно, что от этого все запутывается еще больше. Тогда его товарищ вылезает из лодки и пытается ему помочь, и они толкаются и мешают друг другу. Оба они хватаются за один и тот же кусок веревки, тянут его в разные стороны и никак не могут понять, почему он не поддается их усилиям. В конце концов все образуется, и тогда они оборачиваются и обнаруживают, что лодку тем временем унесло и она направляется прямехонько к плотине.

Однажды я был очевидцем подобной истории. Это произошло утром, немного выше Бовени. Дул свежий ветер. Мы гребли вниз по реке. И вот, когда мы обогнули излучину, мы увидели на берегу двоих людей. Они смотрели друг на друга с выражением такой

беспредельной растерянности и уныния, каких я ни до, ни после не встречал на человеческих лицах. Оба держали в руках концы длинной бечевы. Было ясно, что с ними что-то неладно, поэтому мы подгребли к ним и спросили, что произошло.

«Нашу лодку унесло, – ответили они негодующе. – Мы вылезли, чтобы распутать бечеву, а когда оглянулись, оказалось, что лодки и след простыл».

Видимо, они были очень шокированы поведением своей лодки и считали его актом черной неблагодарности. Своенравная беглянка нашлась на полмили ниже. Она застряла в камышах, и мы привели ее обратно. Бьюсь об заклад, что после этого они целую неделю не оставляли ее одну ни на минуту.

Никогда не забуду вида этих двух мужчин, топчущихся на берегу с веревкой в руках и высматривающих свою лодку.

Когда лодку тянут бечевой, случаются презабавные истории. Картинка, которую можно наблюдать чаще всего, такова: двое, тянущих бечеву, быстро шагают по берегу, занятые оживленной беседой, тогда как третий в ста ярдах от них тщетно взывает к ним из лодки, умоляя остановиться, и отчаянно сигнализирует веслом о бедствии. У него что-то случилось – выскочил руль, или за борт упал багор, или шляпа полетела в воду и теперь стремительно несется вниз по течению. Он просит их остановиться – сначала спокойно и вежливо.

«Эй, остановитесь-ка на минутку! – кричит он весело. – У меня шляпа упала в воду!»

Потом уже менее любезно:

«Эй, Том, Дик, оглохли вы, что ли?»

И наконец:

«Эй, черт вас подери, болваны вы этакие, стойте! Ах, чтоб вас!..»



Потом он вскакивает, и начинает метаться по лодке, и орет во все горло, и ругается на чем свет стоит. А мальчишки с берега глазеют на него, и издеваются над ним, и швыряют в него камнями, когда он проплывает мимо них со скоростью четырех миль в час, не имея возможности вылезти и задать им трепку.

Подобных огорчений можно было бы избежать, если бы те, кто тянет лодку, постоянно помнили, что они тянут лодку, и почаще оглядывались бы на того, кто в ней находится. Лучше, чтоб бечеву тянул один человек. Когда этим занято двое, они принимаются болтать и забывают обо всем на свете, а что касается самой лодки, то она, как ей и полагается, оказывает ничтожное сопротивление и потому не в состоянии напомнить им об их основном занятии.

Вечером, когда мы после ужина рассуждали на эту тему, Джордж рассказал нам прелюбопытную историю – пример того, до какой невероятной забывчивости могут дойти двое людей, тянущих бечеву.

Однажды вечером, рассказывал Джордж, ему и трем его приятелям пришлось подниматься от Мэйденхеда вверх по реке на тяжело нагруженной лодке. Немножко выше Кукэмского шлюза они увидели молодого человека и девушку, которые брели по тропинке, углубленные в какую-то, по-видимому необычайно интересную и захватывающую, беседу. В руках у них был багор, а к багру привязана волочившаяся за ними бечева, конец которой уходил в воду. Лодки поблизости не было, вообще ни одной лодки не было на горизонте. Очевидно, когда-то к этой бечеве была привязана лодка, но что с ней приключилось, какая

страшная участь постигла ее и тех, кто в ней оставался, – это было покрыто тайной. Однако, что бы ни произошло с лодкой, ее судьба ни малейшим образом не волновала молодую чету, тянувшую бечеву. У них был багор, у них была веревка, а до остального им не было дела.



Джордж хотел было крикнуть и привести их в чувство, но в эту минуту его осенила счастливая мысль, и он удержался. Он схватил багор, наклонился и выудил конец бечевы; он и его товарищи сделали на ней петлю и накинули на свой флагшток, а потом убрали весла, уселись на корме и закурили трубки.

И юная парочка протащила этих четырех дюжих парней и тяжелую лодку до самого Марло.

Джордж уверял, что он никогда не видел в человеческом взгляде столько сосредоточенной и задумчивой скорби, как у этих молодых людей, когда, дойдя до шлюза, они поняли, что последние две мили тянули чужую лодку. Джордж считал, что если бы не облагораживающее влияние любимой женщины, молодой человек дал бы волю языку.

Первой пришла в себя барышня. Ломая руки, она воскликнула: «О Генри, где же, в таком случае, тетушка?»

– Ну и как, нашли они в конце концов эту старушку? – спросил Гаррис.

Джордж сказал, что ему это неизвестно.

Другой случай опасного отсутствия гармонии между влекущим и влекомым довелось однажды наблюдать мне самому вместе с Джорджем около Уолтона. Это было там, где бечевник совсем близко подходит к воде. Мы устроили привал на противоположном берегу и любовались видом. Вдруг на реке появилась лодка. Она неслась на бечеве, влекомая могучей ломовой лошадью, на которой сидел крохотный мальчуган. Пятеро парней расположились в лодке в мечтательных и безмятежных позах; особенно беззаботный вид был у рулевого.

«Вот было бы здорово, если бы он сейчас положил руль не на ту сторону»,

– прошептал Джордж, когда они проплывали мимо. И в тот же миг это случилось, и лодка наскочила на берег с таким треском, как будто одновременно лопнули на ветру сорок тысяч парусов. Два пассажира, корзина с провизией и три весла тут же вылетели из лодки с левого

борта и очутились на берегу; вслед за этим еще два пассажира высадились на берег с правого борта и шлепнулись среди багров, парусов, саквояжей и бутылок. Последний пассажир проехал еще двадцать ярдов и только тогда вылетел на берег головой вперед.

Это, видимо, облегчило лодку, и она помчалась еще быстрее; мальчишка гикнул и пустил своего коня вскачь. Пострадавшие пришли в себя и обалдело уставились друг на друга. Лишь через несколько секунд они сообразили, что с ними случилось, а когда сообразили, принялись кричать во все горло мальчишке, чтобы он остановился. Однако он был слишком увлечен своей лошадью, чтобы слышать. Тогда они помчались вслед за ним, и мы с интересом наблюдали эту картину, пока они не скрылись из виду.

Не могу сказать, что их неудача очень меня огорчила. Более того, я мечтаю, чтобы со всеми безмозглыми юнцами, которые пользуются подобным буксиром (а таких олухов хоть отбавляй), происходили подобные злоключения. Я уже не говорю об опасности, которой они подвергаются сами, но они страшны для всех проходящих судов. Двигаясь таким образом, они никому не могут уступить дорогу, равно как и другие не могут свернуть в сторону. Их бечева налетает на ваш флагшток и переворачивает лодку; а то еще она зацепляет кого-нибудь из пассажиров и либо швыряет его в воду, либо разрезает ему лицо. Лучше всего в таких случаях – не теряться и приготовиться к тому, чтобы отвести их бечеву концом багра.

Самые сильные ощущения при буксировке бечевой испытываешь, когда лодку тянут барышни. Слова тут бессильны, это надо пережить. Для того чтобы тянуть бечеву, необходимо не менее трех барышень: две тянут веревку, а третья прыгает вокруг них и заливается смехом. Начинают они обычно с того, что запутываются в веревке. Они обматывают ею ноги, и им приходится усаживаться на тропинке и распутывать друг друга, а потом они заматывают ее вокруг шеи и им грозит удушение. Однако в конце концов они справляются с веревкой и принимаются бежать изо всех сил, ведя лодку на угрожающей скорости. Через каких-нибудь сто ярдов они, естественно, выдыхаются, ни с того, ни с сего останавливаются, бросаются на траву и хохочут, а вашу лодку относит на середину реки и начинает вертеть, прежде чем вы успеваете понять, что произошло, и схватиться за несла. Тут они встают и начинают удивляться.



«Глядите-ка, – говорят они, – она уже на самой середине».

После этого некоторое время они довольно усердно тянут, но вдруг оказывается, что одной из них необходимо подколоть платье. Они замедляют ход, и лодка благополучно садится на мель.

Вы вскакиваете, и пытаетесь оттолкнуться, и взываете к девицам, чтобы они не останавливались.

«В чем дело?» – кричат они в ответ.

«Нельзя останавливаться!» – надрываетесь вы.

«Чего нельзя?»

«Нельзя останавливаться. Идите вперед, идите!»

«Вернись, Эмили, и узнай, чего им надо», – говорит одна из девиц.

И Эмили возвращается и спрашивает, что случилось.

«В чем дело? – спрашивает она. – Что-нибудь произошло?»

«Нет, – отвечаете вы. – Все в порядке, но только идите вперед, не останавливайтесь!»

«А почему?»

«Когда вы останавливаетесь, мы не можем править. Вы должны следить за тем, чтобы лодка все время была в движении».

«Была в чем?»

«В движении. Лодка все время должна двигаться».

«Ладно, я им передам. А хорошо мы тянем?»

«О да, превосходно. Только, ради бога, не останавливайтесь».

«Оказывается, это вовсе не так трудно. А я-то думала, что будет тяжело».

«Ну, конечно, это совсем просто. Только нельзя делать остановок. Вот и все».

«Понятно. Дайте мне мою красную шаль. Она под подушкой».

Вы находите шаль и отдаете ее, а в это время возвращается другая барышня, которой, видите ли, тоже понадобилась шаль. На всякий случай, она берет шаль и для Мэри, но выясняется, что Мэри она вовсе не нужна, поэтому они приносят ее обратно и вместо нее берут гребень. Убив на все это минут двадцать, они наконец трогаются с места, но у следующего поворота видят корову – и вам приходится высаживаться из лодки и прогонять корову с дороги.

Одним словом, когда барышни тянут лодку, – соскучиться невозможно.

Джордж в конце концов распутал бечеву и без приключений довел нас до Пентон-Хука. Там мы стали обсуждать важный вопрос о ночевке. Мы решили, что проведем эту ночь в лодке. Мы могли располагаться на ночлег либо здесь, в Пентон-Хуке, либо уже где-нибудь за Стэйнзом. Однако рано думать о покое, когда еще светит солнце, и мы решили добраться до Раннимида, находящегося в трех с половиной милях вверх по реке: это тихий лесистый уголок, и там удобно причаливать.

Впрочем, потом мы очень раскаивались, что не остановились в Пентон-Хуке. Сделать три-четыре мили вверх по течению рано утром – сущая ерунда, но в конце трудового дня – это дело не из легких. На протяжении последних нескольких миль вы уже не интересуетесь пейзажем. Вы не болтаете и не смеетесь. Каждая полумиля тянется как две. Вам не верится, что вы находитесь именно там, где вы находитесь, и вы уверены, что карта врет. Когда вы протащились, как-вам-кажется, по крайней мере десять миль, а шлюза все нет как нет, вы начинаете всерьез бояться, что кто-то его стянул и удрал с ним.

Вспоминаю, как я однажды, катаюсь по реке, сел в лужу (конечно, в фигуральном смысле). Я совершал прогулку с одной девицей – моей кузиной с материнской стороны. Мы гребли вниз по течению к Горингу. Было уже довольно поздно, и мы торопились домой (она, во всяком

случае, очень торопилась). Когда мы добрались до Бенсонского шлюза, было половина седьмого, уже смеркалось, и кузина начала беспокоиться. Она заявила, что ей во что бы то ни стало нужно вернуться домой к ужину. Я заметил, что тоже испытываю потребность поспеть домой к этому времени. У меня была с собой карта, и я развернул ее, чтобы прикинуть, много ли нам еще осталось. Выяснилось, что до следующего шлюза – Уоллингфордского – осталось ровно полторы мили, а оттуда до Клива – еще пять.

«Так, понятно, – сказал я. – Мы пройдем этот шлюз к семи часам, и тогда впереди останется всего один шлюз».

И я принялся усердно грести.

Мы проехали мост, и вскоре я спросил мою спутницу, виден ли уже шлюз. Она ответила, что нет, никакого шлюза не видно. И я произнес «гм» и продолжал грести. Прошло еще минут пять, и я попросил ее взглянуть еще разок.

«Нет, – сказала она, – я не вижу никаких признаков шлюза».

«А вы… вы поймете, что это шлюз, когда увидите его?» – спросил я нерешительно, боясь ее обидеть.

Она все-таки обиделась и сказала, чтобы я смотрел сам. Я бросил весла и, повернувшись, стал всматриваться вдаль. В сумерках река была видна почти на милю, но шлюз и не думал появляться.

«А мы не заблудились?» – спросила моя спутница.

Я не представлял себе, как бы это могло произойти, однако высказал предположение, что, может быть, мы каким-то образом попали в запруженное русло и нас несет прямо к водопаду.

Такая перспектива ничуть ее не утешила, и она принялась рыдать. Она говорила, что мы оба утонем и это бог покарал ее за то, что она поехала со мной кататься.

Мне такая кара показалась слишком жестокой, но кузина считала ее справедливой и уповала, что скоро всему настанет конец.

Я пытался ее успокоить и изобразить все совершеннейшим пустяком. Я сказал ей, что дело, по-видимому, в том, что я греб не так быстро, как мне казалось, но что теперь мы скоро доберемся до шлюза. Мы проплыли еще с милю.

Тут уж я сам начал беспокоиться. Я снова взглянул на карту. На ней черным по белому был обозначен Уоллингфордский шлюз в полутора милях ниже Бенсонского. Карта была хорошая, надежная; кроме того, я сам отлично помнил этот шлюз. Я дважды проходил его. Где же мы? Что с нами произошло? Я начал было думать, что все это сон, что я сплю в собственной постели и через минуту проснусь и узнаю, что уже одиннадцатый час.

Я спросил кузину, не кажется ли ей, что это сон, и она ответила, что только что собиралась задать мне тот же вопрос. И тогда мы решили, что, может быть, мы оба спим. Но если так, то кто же из нас действительно спит и видит сон, а кто только снится другому? Дело принимало интересный оборот.

Между тем я продолжал грести, а шлюз все не появлялся. Среди сгущающихся ночных теней река становилась угрюмой и загадочной, и все вокруг казалось таинственным и жутким. Мне стали приходить на ум всякие домовые, духи, блуждающие огоньки, русалки, которые ночью сидят на скалах и завлекают людей в водовороты, и всякая прочая чертовщина. Я стал сожалеть, что был недостаточно добродетелен, и раскаиваться в том, что знаю слишком мало молитв. И вдруг во время этих размышлений я услышал дивную мелодию «Он разоделся в пух и прах», которую прескверно играли на гармонике, и тут я понял, что мы спасены.

Обычно я не прихожу в восторг от звуков гармоники. Но, боже мой, какой пленительной показалась тогда нам обоим эта музыка; куда пленительнее, чем, скажем, пение Орфея или лютня Аполлона! В тогдашнем нашем состоянии какая-нибудь небесная мелодия могла бы

только еще больше нас расстроить. Трогательные гармонические созвучия мы могли бы счесть зовом небес и утратили бы всякую надежду остаться в живых. Но в спотыкающемся мотивчике «Он разоделся в пух и прах», фальшиво наигрываемом на визгливой гармошке, было что-то удивительно теплое и человеческое.

Сладостные звуки становились все слышнее, и вскоре лодка, с которой они раздавались, появилась рядом с нами.

В ней была компания местных кавалеров и девиц, отправившихся прогуляться при луне (никакой луны, правда, не было, но это уж не их вина). Никогда в жизни я не видел более милых и очаровательных людей. Я окликнул их и спросил, не могут ли они указать мне дорогу к Уоллингфордскому шлюзу; я объяснил им, что ищу его уже битых два часа.

«Уоллингфордский шлюз! – отвечали они. – Да бог с вами, сэр, вот уже больше года, как с ним покончили. Уоллингфордский шлюз приказал долго жить, сэр. Вы теперь около Клива. Вот умора, Билл, этот джентльмен ищет Уоллингфордский шлюз!»

То, что шлюза больше нет, мне просто не приходило в голову. Мне хотелось броситься им на шею и расцеловать их. Но течение было слишком быстрым для того, чтобы я мог это осуществить, так что мне пришлось удовлетвориться банальными словами благодарности.

Мы благодарили их снова и снова и говорили, что сегодня чудный вечер; мы желали им приятной прогулки, и я, если память мне не изменяет, даже пригласил всю компанию погостить у нас с недельку, а моя кузина сказала, что ее мама будет очень рада с ними познакомиться. И мы запели «хор солдат» из «Фауста» и в конце концов поспели домой к ужину.



Глава X

Первая ночевка. – Под парусиновым пологом. – Мольба о помощи. – Коварство чайника и как с ним бороться. – Ужин. – Способ достижения нравственного совершенства. – Срочно требуется хорошо осушенный необитаемый остров с удобствами, желательно в южной части Тихого океана. – Забавный случай с отцом Джорджа. – Бессонная ночь.

Мы с Гаррисом уже подумывали о том, не случилось ли что-нибудь в этом роде и с Белл-Уирским шлюзом. Джордж тянул лодку до Стейнза; там мы его сменили, и нам уже стало

казаться, что мы прошагали миль сорок, волоча за собой груз тонн в пятьдесят. Мы добрались до места в половине восьмого. Тут все мы уселись в лодку, подгребли к левому берегу и стали высматривать, где бы причалить.[20]

Сначала мы думали добраться до острова Великой Хартии Вольностей – живописного уголка, где река делает излучину, прокладывая себе путь через очаровательную зеленую долину, – и устроить привал в одной из маленьких бухточек, которыми изобилует остров. Но почему-то оказалось, что теперь мы не так уж стремимся к красотам природы, как утром. Для первого ночлега нас бы вполне устроил, скажем, клочок берега между угольной баржей и газовым заводом. У нас не было потребности в живописном пейзаже. Мы хотели поужинать и лечь спать. Тем не менее мы подгребли к стрелке острова, называемой «Мыс пикников», и высадились в очень симпатичном местечке, под сенью огромного вяза, к узловатым корням которого и привязали лодку.

Мы мечтали скорей поужинать (решив, для сокращения времени, обойтись без чаю), но Джордж воспротивился этому: он сказал, что надо натянуть тент, пока еще не совсем стемнело и можно разглядеть, что к чему. А потом, сказал он, сделав дело, мы со спокойным сердцем займемся едой.

Думаю, что никто из нас не подозревал, сколько хлопот может доставить натягивание тента. В теории это выглядело проще простого. Берутся пять железных дуг – в точности как крокетные воротца, только гораздо больше, – и укрепляются стоймя над лодкой, а поверх них натягивается парусина и прикрепляется внизу, – не такая уж большая премудрость. На всю операцию потребуется, прикинули мы, минут десять.

Но мы просчитались.

Мы взяли дуги и начали вставлять их в специальные гнезда. С первого взгляда никак не скажешь, что такое занятие может быть опасным. И, однако, я до сих пор удивляюсь тому, что участники этого дела остались в живых и что есть кому рассказать о происшедшем. Это были не дуги, а сущие дьяволы. Поначалу они никак не хотели влезать в предназначенные для них гнезда, и нам пришлось налегать на них всей своей тяжестью, толкать и заколачивать багром. И когда наконец они стали на место, оказалось, что мы вставили дуги не в те гнезда, для которых они предназначены, и что теперь их нужно выдергивать обратно.

Но они не желали выдергиваться, и двоим из нас пришлось вступить с ними в борьбу, которая продолжалась минут пять, после чего они неожиданно выскочили, с намерением задать нам встряску, вышвырнуть нас в воду и утопить. Посредине у них были шарниры, и стоило нам отвернуться, как они ухитрялись прищемить нам этими шарнирами самые чувствительные части тела. И пока мы сражались с одним концом дуги, убеждая его выполнить свой долг, – другой конец предательски подкрадывался сзади, чтобы треснуть нас по голове.

Наконец нам удалось укрепить дуги, – оставалось только натянуть парусину. Джордж раскатал ее и прикрепил одним концом на носу лодки. Гаррис встал посредине, чтобы подхватить парусину, переданную Джорджем, и отправить дальше ко мне, а я изготовился принимать ее на корме. Парусине потребовалось немало времени на то, чтобы добраться до меня. Джордж вполне справился со своей операцией, но для Гарриса это дело было в новинку, и он дал маху. Как он ухитрился это сделать, я не знаю, да и сам он не мог объяснить, – только после десяти минут сверхчеловеческих усилий он, с помощью совершенно загадочных манипуляций, обмотал всю парусину вокруг себя, Он был так плотно в нее завернут, и упакован, и закатан, что никак не мог из нее выбраться. Нечего и говорить, что он отчаянно боролся за свободу своей личности, как сделал бы всякий британец, пользующийся этим благом от рождения, – и в процессе борьбы (это мне стало ясно лишь впоследствии) повалил Джорджа; тут Джордж, ругая Гарриса на чем свет стоит, тоже вступил в бой и сам запеленался в парусину.

В тот момент я ни о чем не догадывался. Я вообще понятия не имел о том, что творится. Мне было сказано, что я должен стоять там, куда меня поставили, и ждать, когда мне передадут парусину; и вот мы вдвоем с Монморанси стояли и ждали, как паиньки. Мы заметили, что парусина как-то судорожно дергается и здорово брыкается, но полагали, что, видимо, так и надо, что в этом вся соль, а потому не вмешивались.

Из-под парусины доносились приглушенные выражения, по которым мы догадывались, что занятие находившихся внутри было не из легких; сделав такое заключение, мы укрепились в решении подождать, пока все образуется, прежде чем самим включиться в работу.



Мы ждали довольно долго, но дело, видно, запутывалось все больше и больше. Вдруг над бортом лодки возникла голова Джорджа и заговорила.

Ока сказала:

– У тебя руки отсохли, что ли, растяпа? Стоит как пень, когда мы оба чуть не задохлись! Чертов болван!

Когда взывают к моему состраданию, я не способен оставаться в стороне, а потому я поспешил на помощь и распутал их, – и едва ли преждевременно, так как у Гарриса лицо уже почернело.

Нам пришлось еще с полчаса зверски поработать, пока тент не был наконец натянут как полагается; потом мы очистили место в лодке и занялись ужином. Мы поставили чайник на спиртовку в носовой части лодки и удалились на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания и озабочены совершенно другими делами.

Это единственный способ заставить чайник закипеть. Если только он заметит, что вы нетерпеливо ждете, чтобы он закипел, – он даже и зашуметь не подумает. Надо отойти и приступить к еде, как будто вы и не собираетесь пить чай. Ни в коем случае не следует

оглядываться на чайник, тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем.

Если вам очень некогда, то неплохо вдобавок громко переговариваться друг с другом о том, что чай вам вовсе не нужен и что вы и не помышляете о чаепитии. Вы располагаетесь невдалеке от чайника так, чтобы он мог вас слышать, и громогласно заявляете: «Я не хочу чаю; а ты, Джордж?» Джордж кричит в ответ: «Да ну его, этот чай, выпьем лучше лимонаду, – чай плохо переваривается». После таких слов чайник немедленно начинает кипеть ключом и заливает спиртовку.

Мы применили эту невинную хитрость, и в результате, когда другие приготовления к ужину были закончены, чай уже ждал, чтобы мы его выпили. Мы зажгли фонарь и сели ужинать.

Как мы ждали этого мгновенья!

В течение тридцати пяти минут на всем протяжении лодки от носа до кормы и от одного борта до другого не раздавалось ни звука, если не считать позвякиванья посуды и непрерывного чавканья четырех пар челюстей. Через тридцать пять минут Гаррис сказал: «Уф!» – и, вытянув левую ногу, поджал под себя правую.

Еще через пять минут Джордж тоже сказал: «Уф!» – и швырнул свою миску на берег. Три минуты спустя Монморанси впервые после нашего отъезда выказал признаки примирения с действительностью и повалился на бок, вытянув лапы. А потом я сказал: «Уф!» – и откинулся назад и крепко стукнулся головой об одну из дуг; но это не испортило моего настроения – я даже не ругнулся.

Как хорошо себя чувствуешь, когда желудок полон. Какое при этом ощущаешь довольство самим собой и всем на свете! Чистая совесть – по крайней мере так рассказывали мне те, кому случалось испытать, что это такое, – дает ощущение удовлетворенности и счастья. Но полный желудок позволяет достичь той же цели с большей легкостью и меньшими издержками. После обильного принятия сытной и удобоваримой пищи чувствуешь в себе столько благородства и доброты, столько всепрощения и любви к ближнему!

Все-таки странно, насколько наш разум и чувства подчинены органам пищеварения. Нельзя ни работать, ни думать без разрешения желудка. Желудок определяет наши ощущения, наши настроения, наши страсти. После яичницы с беконом он велит: «Работай!» После бифштекса и портера он говорит: «Спи!» После чашки чая (две ложки чая на чашку, настаивать не больше трех минут) он приказывает мозгу: «А ну-ка воспрянь и покажи, на что ты способен. Будь красноречив, и глубок, и тонок; загляни проникновенным взором в тайны природы; простри свои белоснежные крыла – трепещущую мечту и богоравный дух – и воспари над суетным миром и направь свой полет сквозь сияющие россыпи звезд к вратам вечности».

После горячих сдобных булочек он говорит: «Будь тупым и бездушным, как домашняя скотина, – безмозглым животным с равнодушными глазами, в которых нет ни искры фантазии, надежды, страха и любви». А после изрядной порции бренди он приказывает: «Теперь дурачься, хихикай, пошатывайся, чтобы над тобой могли позабавиться твои ближние; выкидывай глупые шутки, бормочи заплетающимся языком бессвязный вздор и покажи, каким полоумным ничтожеством может стать человек, когда его ум и воля утоплены, как котята, в рюмке спиртного».

Мы всего только жалкие рабы нашего желудка. Друзья мои, не поднимайтесь на борьбу за мораль и право! Заботьтесь неусыпно о своем желудке, наполняйте его старательно и обдуманно. И тогда без всяких усилий с вашей стороны в душе вашей воцарятся спокойствие и добродетель; и вы будете добрыми гражданами, любящими супругами, нежными родителями, – словом, достойными и богобоязненными людьми.

До ужина Джордж, Гаррис и я были раздражительны, задиристы, сварливы; после ужина мы блаженно улыбались друг другу и нашей собаке. Мы любили друг друга, мы любили весь

мир. Гаррис нечаянно наступил Джорджу на мозоль. Случись это до ужина, Джордж высказал бы такие пожелания и надежды касательно будущности Гарриса как на этом, так и на том свете, которые заставили бы содрогнуться человека с воображением.

Теперь он сказал всего-навсего:

– Полегче, старина! Это моя любимая мозоль.

А Гаррис, вместо того чтобы крайне нелюбезным тоном сделать замечание, что трудно не наступить Джорджу на ноги, находясь всего в десяти ярдах от него; вместо того чтобы посоветовать человеку с ногами такой длины никогда не влезать в лодку обычных размеров; вместо того чтобы предложить Джорджу развесить свои ноги по обоим бортам, – вместо этого он просто сказал: «Ах, дружище, прости, пожалуйста! Надеюсь, тебе не очень больно?»

И Джордж сказал: «Ни капельки!» – и добавил, что сам виноват и просит прощения. А Гаррис возразил, что, наоборот, виноват исключительно он.

Слушать их было одно удовольствие.

Мы закурили трубки и сидели, любуясь тихой ночью, и разговаривали.



Джордж высказал мысль: почему бы нам не остаться навсегда вдали от греховного мира с его пороками и соблазнами, ведя скромную, простую, воздержную жизнь и творя добро. Я сказал, что давно мечтал о чем-нибудь в таком роде. И мы стали раздумывать, не отрешиться ли нам четверым от мира и не обосноваться ли на каком-нибудь удобно расположенном и хорошо обставленном необитаемом острове, чтобы зажить там среди лесов.

Гаррис заметил, что он слыхал, будто главным недостатком необитаемых островов является сырость; но Джордж возразил, что ничего подобного, если предварительно как следует осушить их, чтобы не бояться промочить ноги.

Тут кто-то из нас заметил, что лучше промочить горло, чем промочить ноги, и в связи с этим Джордж вспомнил одну забавную историю, происшедшую с его отцом. Джордж рассказал, что его отец путешествовал по Уэльсу с приятелем и однажды они остановились на ночь в гостинице, где проживали еще несколько молодых людей, и они (отец Джорджа и его друг) присоединились к этим молодым людям и провели вечер в их обществе.

Компания была веселая, засиделись они допоздна, и когда пришло время отправляться спать, то оказалось, что оба (отец Джорджа был тогда еще зеленым юнцом) изрядно

накачались. Они (отец Джорджа и его приятель) должны были спать в одной комнате с двумя кроватями. Они взяли свечу и поднялись к себе. И когда они добрались до своей комнаты, свеча пошатнулась и, наткнувшись на стенку, погасла, так что им предстояло раздеваться и ложиться в постель ощупью. Так они и сделали; но забрались они, сами того не подозревая, в одну и ту же постель, хотя им казалось, что ложатся они в разные; при этом один устроился, как и полагается, головой на подушке, а второй, вползавший на кровать с другой стороны, улегся, водрузив на подушку ноги.

На минуту воцарилось молчание, потом отец Джорджа сказал:

«Джо!»

«В чем дело, Том?» – ответил голос Джо с другого конца кровати.

«Послушай! В моей постели уже кто-то есть, – сказал отец Джорджа, – его ноги у меня на подушке».

«Подумай, какое странное совпадение, Том, – ответил Джо. – Провалиться мне на месте, если в мою постель тоже кто-то не забрался».

«Что же ты собираешься делать?» – спросил отец Джорджа.

«Я? Я собираюсь сбросить этого типа на пол», – ответил Джо.

«Я тоже», – храбро заявил отец Джорджа.

Последовала короткая схватка, закончившаяся двумя полновесными ударами об пол; потом жалобный голос позвал:

«Том, а Том?»

«Ну?»

«Как твои дела?»

«Знаешь, честно говоря, – мой тип сбросил на пол меня!»

«А мой – меня! Это не гостиница, а черт знает что!»

– Как называлась гостиница? – спросил Гаррис.

– «Свинья со свистулькой», – ответил Джордж. – А что?

– Да нет, значит это не та, – сказал Гаррис.

– А почему ты спрашиваешь? – настаивал Джордж.

– Видишь ли, какая штука, – пробормотал Гаррис. – Точно такое же приключение случилось и с моим отцом в одной провинциальной гостинице. Я часто слыхал от него этот рассказ. Я подумал, может, это было в той же гостинице?..

Мы улеглись спать в десять часов, и я считал, что благодаря усталости сразу усну, но не тут-то было. Обычно я раздеваюсь и кладу голову на подушку, а потом кто-нибудь барабанит в дверь и кричит, что уже пора вставать; но сегодня, казалось, все было против меня. Новизна обстановки, жесткое дно лодки, служившее мне ложем, неудобная поза (мои ноги были под одной скамейкой, а голова – на другой), плеск воды о лодку и шуршание листвы от порывов ветра – все это отвлекало меня и не давало уснуть.

Все-таки я заснул и проспал несколько часов. Потом какая-то часть лодки, выросшая только на эту ночь (ибо ее еще не было, когда мы отправлялись в путь, и она исчезла к утру), впилась мне в позвоночник. Некоторое время я все же еще спал, и мне снилось, будто бы я проглотил соверен и, чтобы его извлечь, в моей спине буравят дырку. Я считал, что это бестактно, и просил поверить мне в долг, и обещал расплатиться в конце месяца. Но меня и слушать не хотели и настаивали на том, чтобы вытащить деньги немедленно, потому что в противном случае нарастут большие проценты. Тут у нас произошла словесная перепалка, и я высказал своим кредиторам все, что о них думал. И тогда они повернули бурав с таким изощренным садизмом, что я проснулся.

В лодке было душно; голова у меня болела. Я решил выйти подышать свежим ночным воздухом. Я натянул на себя оказавшуюся под рукой одежду (кое-что было мое, а кое-что – Джорджа и Гарриса) и выбрался из-под тента на берег.

Ночь была чудесная. Луна уже зашла, оставив притихшую землю наедине со звездами. Казалось, что, пока мы, ее дети, спали, звезды вели беседу с нею, со своей сестрой, и поверяли ей свои тайны голосами слишком низкими и глубокими для младенческого слуха человека.

Они невольно вызывают в нас благоговейный трепет, эти яркие и холодные, удивительные звезды… Мы похожи на заблудившихся детей, попавших случайно в полуосвещенный храм божества, которое их учили почитать, но которое они до конца не познали; и они стоят под гулким сводом, затканным мириадами призрачных огней, и глядят вверх, надеясь и боясь увидеть некое страшное видение, парящее в вышине.

И все же ночь кажется исполненной силы и умиротворенности. Перед ее величием тускнеют и стыдливо прячутся наши маленькие горести. День был полон суеты и волнений, наши души были полны зла и горечи, а мир казался жестоким и несправедливым к нам. И вот ночь, великая любящая мать, ласково прикасается своей ладонью к нашему пылающему лбу, и заставляет нас повернуться к ней заплаканным лицом, и улыбается нам; и хотя она безмолвствует – мы знаем все, что она могла бы нам сказать, и мы прижимаемся горящей щекой к ее груди, и горе наше проходит.

Порою горе наше поистине глубоко и мучительно, и мы безмолвно стоим перед лицом Ночи, ибо у нашего горя нет слов, а есть только стон. И Ночь полна сострадания к нам. Она не может облегчить нашей боли, но она берет нашу руку в свою, и маленький мир уходит куда-то далеко-далеко и становится совсем крошечным, а мы на темных крыльях Ночи переносимся пред лицо еще более могущественного существа, чем она сама, и вся жизнь человеческая, освещенная сиянием этого существа, лежит перед нами как открытая книга, и мы понимаем, что горе и страдание – лишь ангелы божьи.

Только те, кому дано было страдать, могут увидеть это неземное сияние; но те, кто его видел, вернувшись на землю, не смеют говорить о нем и не могут поведать тайну, которую узнали.

Случилось давным-давно, что несколько прекрасных рыцарей ехали по незнакомой стране, и путь их лежал через дремучий лес, густо заросший колючим кустарником; и стоило кому-нибудь заблудиться в этом лесу, как шипы раздирали ему тело в клочья. А листья деревьев, росших в этом лесу, были такие темные и плотные, что ни один солнечный луч не проникал сквозь ветви, чтобы смягчить мрак и уныние.

И когда они ехали через этот дремучий лес, один из рыцарей отдалился от своих товарищей и уже не вернулся к ним больше; и они, горько сокрушаясь, поехали дальше, оплакивая его, как погибшего.

И вот наконец рыцари достигли прекрасного замка, который был целью их странствия, и пробыли они в этом замке много дней, и весело там пировали. И как-то вечером, когда сидели они в пиршественном зале перед пылавшими в очаге бревнами и осушали заздравные кубки, растворились двери и вошел рыцарь, потерявшийся в лесу, и поклонился им.

Его платье было в лохмотьях, как у нищего, и на теле было много глубоких ран, но лицо его сияло светом великой радости.

И они стали его расспрашивать о том, что с ним случилось. И он рассказал им, как заблудился в дремучем лесу и блуждал много дней и ночей, пока, изодранный шипами и истекающий кровью, не упал, готовясь умереть.

И когда он был уже на пороге смерти, в глухом мраке подошла к нему величавая дева и взяла его за руку и повела его неведомыми тропами; и вот над мраком чащи засиял лучезарный свет, пред которым дневной свет был как лампада перед солнцем. И в этом дивном сиянии явилось измученному рыцарю, словно во сне, некое видение; и столь ослепительно

прекрасным было это видение, что рыцарь, забыв о своих тяжких ранах, стоял словно зачарованный, и радость его была глубокой, как море, глубины которого не измерил еще никто.

И видение исчезло; и рыцарь преклонил колени и возблагодарил святую, бывшую его путеводительницей в этом мрачном лесу и давшую ему узреть сокрытое в чаще видение.

И дремучий лес этот зовется Скорбью. Но о видении, которое явилось там прекрасному рыцарю, мы не смеем рассказывать, не можем поведать.

Глава XI

Как Джордж раз в жизни встал слишком рано. – Джордж, Гаррис и Монморанси не выносят вида холодной воды. – Джей проявляет героизм и решительность. – Нравоучительная повесть о Джордже и его рубашке. – Гаррис в роли повара. – Страничка истории (учебное пособие для школьников).

На следующее утро я проснулся в шесть часов и обнаружил, что Джордж тоже не спит. Мы поворочались с боку на бок и попытались снова уснуть, однако из этого ничего не вышло. Если бы по каким-нибудь особым причинам нам было необходимо *немедленно* встать и одеться, мы, конечно, свалились бы замертво, едва взглянув на часы, и проспали бы до десяти. Но поскольку нам в течение добрых двух часов было абсолютно нечего делать и такое раннее пробуждение не имело ни малейшего смысла, то мы оба, вопреки рассудку, но в полном соответствии с общей извращенностью человеческой натуры, почувствовали, что умрем на месте, если пролежим еще хоть пять минут.

Джордж рассказал, что нечто подобное – только еще хуже – случилось с ним полтора года назад, когда он жил на квартире у некой миссис Гиппингс. Однажды вечером его часы испортились и остановились на четверти девятого. Он не заметил этого сразу, потому что, ложась спать, забыл их завести (случай в его жизни весьма редкий), и повесил у изголовья кровати, даже не взглянув на циферблат.

Все это происходило зимой, дни стояли очень короткие, и к тому же всю неделю над городом висел непроницаемый туман; поэтому, когда Джордж проснулся утром, темнота не могла служить признаком раннего часа. Он приподнялся и снял с гвоздя часы. Они показывали четверть девятого.

«Господи помилуй! – воскликнул Джордж. – К девяти я должен быть в Сити. Почему меня никто не разбудил? Что за безобразие!»

И тут он швыряет часы, и вскакивает с постели, и принимает холодную ванну, и моется, и одевается, и бреется без горячей воды, так как греть ее некогда, и затем вновь кидается к часам.

То ли от сотрясения, полученного ими, когда они шлепнулись на кровать, то ли по какой-нибудь другой причине, неясной самому Джорджу, только часы, застывшие на четверти девятого, пошли и теперь показывали уже без двадцати девять.

Джордж схватил их и сбежал по лестнице. Внизу, в гостиной, было темно и тихо: ни огня в камине, ни завтрака на столе. Это было невиданное безобразие со стороны миссис Гиппингс, и Джордж твердо решил, что вечером, по возвращении домой, выскажет ей свое мнение на этот счет. Пока же он напялил пальто, нахлобучил шляпу, сунул под мышку зонтик и бросился к выходу. Дверь была еще на крюке. Джордж предал анафеме всех ленивых старух вообще и миссис Гиппингс в частности и, удивляясь, что в такой поздний, неподобающий для порядочных англичан час все в доме спят, откинул крюк, отпер дверь и выскочил на улицу.

Он резво пробежал с четверть мили, и лишь к концу этой дистанции ему показалось странным и непонятным, что на улицах так мало народу, а лавки закрыты. Конечно, утро было очень мрачное и туманное, но это еще не основание, чтобы замерла вся деловая жизнь. Ему-

то ведь приходится идти на работу, – почему же другие валяются в постели из-за таких пустяков, как туман и темень?

Наконец он добрался до Холборна. Ни единого омнибуса, ни одного открытого ставня! И ни души вокруг, если не считать трех человек: полисмена, зеленщика с тележкой и возницы обшарпанного кэба. Джордж вытащил часы и воззрился на них: без пяти девять! Он остановился и сосчитал свой пульс. Он нагнулся и ущипнул себя за ногу. Потом, с часами в руке, он подошел к полисмену и спросил, который час.



«Который час? – переспросил тот, окидывая Джорджа откровенно подозрительным взглядом. – А вот послушайте и сосчитайте, сколько пробьет».

Джордж прислушался, и башенные часы по соседству не заставили себя ждать.

«Как, всего три?» – возмутился Джордж, когда удары затихли.

«Ну и что ж? А вам сколько нужно?» – ответил констебль.

«Девять, разумеется», – заявил Джордж, предъявляя часы.

«А вы помните, на какой улице живете?» – строго вопросил блюститель общественного порядка.

Джордж подумал и сообщил свой адрес.

«Ах, вот оно что, – сказал полисмен. – Ну так послушайтесь моего совета: спрячьте подальше ваши часы да идите себе подобру-поздорову домой. А дурака валять тут нечего».

И Джордж в полном недоумении поплелся домой.

Вернувшись к себе, он решил было опять раздеться и лечь в постель, но, вспомнив, что придется снова одеваться, и снова умываться, и снова принимать ванну, предпочел устроиться в кресле и там поспать.

Но уснуть он не мог: никогда в жизни он не чувствовал себя так основательно проснувшимся. Он зажег лампу, достал шахматную доску и стал играть с самим собой в шахматы, но даже это занятие не воодушевило его; время тянулось слишком медленно. Тогда он бросил шахматы и попытался читать. Убедившись, что и чтение не вызывает в нем ни малейшего интереса, он снова надел пальто и вышел прогуляться.

Улицы были так пустынны и мрачны, а все встречные полисмены осматривали его с таким нескрываемым подозрением и так далеко провожали лучами своих фонариков, что ему стало казаться, будто он вправду что-то натворил, и он начал прятаться в переулках и укрываться в темных подворотнях, как только издали доносилось мерное «топ-топ».

Разумеется, подобный образ действия не вызвал у полисменов прилива доверия: они извлекли Джорджа из очередной подворотни и спросили, что он там делает. Когда же он

ответил «ничего» и добавил, что просто вышел на прогулку (это было в четыре часа утра), ему почему-то не поверили и двое полицейских в штатском проводили его до самого дома, чтобы выяснить, действительно ли он живет, где говорит. Они посмотрели, как он открывает дверь своим ключом, подождали, пока он войдет, потом расположились на противоположной стороне улицы и стали наблюдать за домом.

Придя домой, Джордж решил разжечь камин и, чтобы убить время, собственноручно приготовить себе завтрак, но за что он ни брался, начиная от ведерка для угля и кончая чайной ложечкой, – все опрокидывалось или валилось на пол. Поднялся такой грохот, что он чуть не умер со страху, представляя себе, как миссис Гиппингс вскакивает с постели, вообразив, что к ней забрались воры, и как она открывает окно и визжит: «Полиция!» – и как вышеупомянутые сыщики врываются в дом, надевают на наго наручники и волокут в полицейский участок.

К этому времени нервы у Джорджа были так взвинчены, что ему уже мерещилось и судебное заседание, и безуспешные попытки растолковать присяжным обстоятельства дела, и всеобщее недоверие, и приговор, осуждающий его на двадцать лет каторжных работ, и смерть его убитой горем матери. Тут он отказался от намерения приготовить себе завтрак, закутался в пальто и просидел в кресле до тех пор, пока в половине восьмого не появилась миссис Гиппингс.

Джордж сказал, что с тех пор никогда не просыпался раньше времени: эта история послужила ему хорошим уроком.

Пока Джордж рассказывал мне свою правдивую повесть, мы оба сидели, завернувшись в пледы. Как только он кончил, я принялся за дело: вооружился веслом и начал будить Гарриса. Я ткнул его всего три раза, но этого оказалось достаточно: он повернулся на другой бок и пробормотал, что сию минуту спустится в столовую, только зашнурует ботинки. Пришлось пустить в ход багор, чтобы напомнить ему, где он находится, и тогда он вскочил, а Монморанси, спавший у него на груди сном праведника, полетел кувырком и растянулся поперек лодки.

Потом мы приподняли брезент, все четверо высунули наружу носы, поглядели на реку и задрожали. Накануне вечером мы предвкушали, как проснемся чуть свет, сбросим пледы и одеяла, скатаем брезент, кинемся в воду и предадимся долгой, упоительной оргии купанья, оглашая воздух восторженными криками. Но вот настало утро, и эта перспектива почему-то представилась нам совсем не такой соблазнительной. Вода казалась слишком мокрой и холодной, а ветер пронизывал насквозь.

– Ну, кто первый? – выдавил из себя Гаррис.

Наплыва желающих не было. Что касается Джорджа, то он решил дело просто: скрылся в лодке и стал натягивать носки. Монморанси невольно начал подвывать, – видимо испытывая глубочайший ужас при ода ной лишь мысли о купанье. Гаррис же пробурчал, что потом будет чертовски трудно взобраться в лодку. Затем он спрятался под брезент и занялся поисками своих штанов.

Вообще говоря, идти на попятный не в моих правилах, но и нырять мне вовсе не хотелось. Еще, чего доброго, напорешься на корягу или увязнешь в иле. Поэтому я решился на компромисс: выйти на берег и просто обтереться холодной водой. Я взял полотенце, вылез из лодки, подошел к большому дереву и начал карабкаться по суку, нависшему над рекой.

Было зверски холодно. Дул пронзительный ледяной ветер. У меня сразу пропала охота обтираться. Мне захотелось вернуться в лодку и одеться, и я уже собирался это сделать, но, пока я собирался, дурацкий сук подломился, я и мое полотенце с оглушительным всплеском шлепнулись в реку, и я, с галлоном воды в желудке, очутился на середине Темзы раньше, чем сообразил, что, собственно, произошло.



– Боже правый! Старина Джей все-таки решился! – воскликнул Гаррис, и это было первое, что я услышал, когда всплыл на поверхность. – Вот уж не думал, что у него хватит духу! А ты, Джордж?

– Ну, как там, ничего? – крикнул Джордж.

– Восхитительно! – прохрипел я, пуская пузыри. – Вы просто олухи, что не хотите купаться. Ни за что на свете не упустил бы такого случая. Почему вам не попробовать? Будьте мужчинами, решайтесь!

Но убедить их мне не удалось.

Наше одевание ознаменовалось весьма занятным происшествием. Когда я наконец влез в лодку, у меня зуб на зуб не попадал, и я так спешил натянуть рубашку, что впопыхах уронил ее в воду. Я пришел в дикую ярость, особенно когда Джордж разразился хохотом. По-моему, ничего смешного тут не было, и я сказал об этом Джорджу, но он захохотал еще пуще. Я отродясь не видел, чтобы человек так веселился. В конце концов я потерял терпение и сообщил ему, что он полоумный маньяк и жалкий оболтус, но он ржал все громче. И вот, выудив рубашку из воды, я вдруг обнаружил, что рубашка-то вовсе не моя, а Джорджа и что я по ошибке схватил ее вместо своей; тут я впервые оценил комизм положения и теперь уже начал смеяться сам. И чем дольше я смотрел на помиравшего со смеху Джорджа, тем больше веселился и под конец начал хохотать так, что злополучная рубашка опять полетела в воду.

– Что же ты… что же ты… не вытаскиваешь ее? – спросил Джордж, давясь от смеха.

Я так смеялся, что долго не мог произнести ни слова, но потом все-таки мне удалось выкрикнуть:

– Рубашка не моя… это твоя рубашка…

Мне никогда не приходило в голову, что человек может с такой быстротой перейти от необузданного веселья к мрачному негодованию.

– Что?! – заорал Джордж, вскакивая. – Остолоп несчастный! Не можешь ты быть поосторожнее, что ли? Какого черта ты не пошел одеваться на берег? Такому разине не место в лодке! Давай сюда багор!

Тщетно пытался я обратить его внимание на смешную сторону этого происшествия. Джордж порою бывает чертовски туп и не понимает шуток.

Гаррис предложил сделать на завтрак яичницу-болтунью. Он сказал, что сам ее приготовит. Судя по его словам, он был великим специалистом по части яичниц. Он много раз приготовлял их на пикниках и во время прогулок на яхтах. Он был чемпионом по яичницам.

Он дал нам понять, что люди, которые хоть раз попробовали его яичницу, навеки теряли вкус ко всякой другой пище, а впоследствии чахли и умирали, если не могли вновь получить это блюдо.

Дошло до того, что у нас потекли слюнки от его рассказов, и тогда мы приволокли ему спиртовку, и сковородку, и все яйца, которые еще не успели разбиться и испакостить содержимое нашей корзины, и стали умолять его приступить к делу.

Ему пришлось немало потрудиться, чтобы разбить яйца; собственно говоря, трудность состояла не в том, чтобы их разбить, а в том, чтобы удержать их при этом на должном расстоянии от штанов и вылить, по возможности, именно на сковородку, а не в рукава. Все же в конце концов несколько яиц каким-то образом попали куда следует, и Гаррису удалось, присев тут же на корточки, взбить их вилкой.

Насколько мы с Джорджем могли судить, это была мучительная работа. Стоило Гаррису приблизиться к сковородке, как он тотчас же обжигался, ронял все, что держал в руках, и принимался плясать вокруг спиртовки, дуя на пальцы и ругаясь последними словами. Оглядываясь на него, мы с Джорджем всякий раз видели, как он проделывает эти сложные операции. Сперва мы даже приняли их за какие-то особые приемы кулинарного искусства.

Мы ведь понятия не имели о яичнице-болтунье и считали, что это какое-нибудь блюдо краснокожих индейцев или туземцев Сандвичевых островов и что его всегда готовят в сопровождении заклинаний и ритуальных плясок. Монморанси тоже заинтересовался, подошел и сунул нос в сковородку, но его тут же обожгло брызгами масла, и он, в свою очередь, принялся плясать и браниться. В общем, это было одно из самых интересных и волнующих зрелищ, какие я когда-либо видел. Мы с Джорджем страшно жалели, что оно так быстро кончилось.

Ожидания Гарриса не вполне оправдались. Плоды его трудов были так жалки, что о них не стоит и говорить. Из шести попавших на сковородку яиц получилась одна чайная ложка подгоревшего, неаппетитного месива.

Гаррис сказал, что во всем виновата сковорода. Он уверял, что болтунья получилась бы куда вкуснее, будь у нас газовая плита и таз для варенья. И мы решили не готовить этого блюда, пока не обзаведемся упомянутыми кухонными приборами.

К тому времени, когда мы кончили завтракать, солнце уже стало припекать, ветер утих и утро, казалось, решило оправдать самые смелые наши надежды. Почти ничто вокруг нас не напоминало о девятнадцатом веке; глядя на реку, залитую лучами утреннего солнца, мы легко могли забыть о событиях, протекших с достопамятного июньского утра 1215 года, и вообразить себя теми молодыми английскими йоменами[21] в домотканой одежде, с кинжалом за поясом, которые собрались тогда на берегу, чтобы собственными глазами посмотреть, как в английскую историю будет вписана величественная страница, смысл которой стал ясен простому народу[22] лишь четыре с лишним столетия спустя, благодаря некоему Оливеру Кромвелю, глубоко изучившему ее.

То было прекрасное летнее утро: солнечное, теплое и тихое. Но в воздухе ощущался трепет надвигающихся событий. Король Джон заночевал в Данкрофт-холле, после того как накануне маленький городок Стэйнз с утра до ночи оглашался лязгом воинских доспехов, стуком конских копыт по камням мостовой, окриками военачальников, грубой бранью и забористыми шутками бородатых лучников, копейщиков, алебардщиков и говорящих на непонятном языке иноземцев, вооруженных пиками.

Все новые и новые группы рыцарей и сквайров[23] в нарядных, но запыленных и покрытых дорожной грязью плащах въезжали в город. Весь вечер напуганные горожане угодливо распахивали двери своих домов перед грубыми солдатами, требующими ночлега и пищи, и плохо приходилось дому и его обитателям, если что-нибудь оказывалось не по вкусу гостям,

ибо в те бурные времена меч был судьей и обвинителем, истцом и палачом, и он расплачивался за все, что брал, только тем, что щадил, если заблагорассудится, жизнь дающего.

Но вот большая часть войск, приведенных баронами, собралась вокруг костров на рыночной площади, и там они едят, и пьянствуют, и орут во всю глотку хмельные песни, играют в кости и ссорятся далеко за полночь. Пламя костра рисует причудливые узоры на кучах сложенного оружия и на неуклюжих фигурах воинов. Любопытные городские детишки боязливо посматривают на них; дюжие крестьянские девушки, посмеиваясь, подходят ближе и перебрасываются трактирными шутками с солдатами, столь непохожими на их деревенских кавалеров, которые сразу же получили отставку и стоят в стороне, глазея и тупо ухмыляясь. А вдали, на полях, окружающих город, чуть мерцают огоньки других костров, где, видимо, тоже расположились лагерем отряды каких-нибудь знатных лордов, и рыщут, словно трусливые волки, французские наемники вероломного короля Джона.

Так, под окрики часовых, охраняющих темные улицы, озаренная вспышками сторожевых огней на вершинах окрестных холмов, протекает ночь, и над прекрасной долиной старой Темзы загорается заря великого дня, которому суждено решить судьбы грядущих поколений. Едва лишь начинает светать, как на одном из двух островков, как раз напротив тога места, где мы находимся, поднимается страшный шум и грохот. Множество рабочих воздвигают там большой шатер, привезенный накануне вечером, и плотники сколачивают скамьи, а обойщики из Лондона стоят наготове с сукнами, шелками и драгоценной парчой.

И вот – наконец-то! – по дороге, вьющейся вдоль берега реки, приближаются, смеясь и перекликаясь зычными гортанными голосами, человек десять дюжих алебардщиков – это, конечно, воины баронов; они останавливаются на том берегу, всего лишь в сотне ярдов от нас, и ждут, опершись на алебарды.

Проходит час за часом, и все новые и новые отряды вооруженных людей стекаются к берегу; длинные косые лучи утреннего солнца отражаются от их шлемов и панцирей, и вся дорога сплошь заполнена гарцующими конями и сверкает сталью. И всюду скачут орущие всадники, и маленькие флажки развеваются от легкого ветерка, и то тут, то там поднимается суматоха, и воины расступаются перед каким-нибудь знатным бароном, который верхом на боевом коне, окруженный оруженосцами, спешит стать во главе своих йоменов и вассалов.

А удивленные крестьяне и любопытные жители Стейнза облепили склон Купер-хилла на противоположном берегу реки, и никто из них толком не знает, что тут происходит, но все высказывают самые различные догадки о великом событии, которое должно совершиться у них на глазах, и некоторые говорят, что это счастливый день для всего народа, а старики недоверчиво покачивают головами, ибо они уже не раз слышали подобные басни.

И вся река до самого Стейнза усеяна лодками, баркасами и утлыми рыбачьими челнами, каких уже не встретишь в наши дни, – разве что у бедняков. Направляемые дюжими гребцами, проходят они, иные на веслах, а иные на шестах, через пороги в том месте, где много лет спустя вырастет нарядный Белл-Уирский шлюз, и собираются поближе – насколько хватает смелости – к большим крытым баркам, которые стоят наготове и ждут короля Джона, чтобы отвезти его туда, где он должен подписать роковую Хартию.

Наступает полдень, и в толпе, терпеливо, как и мы, ждущей много часов, разносится слух, будто коварный Джон снова ускользнул из рук баронов, бежал из Данкрофт-холла в сопровождении своих наемников и, вместо того чтобы даровать народу какую-то хартию, намерен обойтись с ним совсем иначе.

Но не тут-то было! На этот раз он попал в железные тиски, и напрасно он извивается и норовит вывернуться. Вот уже клубится вдали на дороге облачко пыли, вот оно приближается, растет, и все громче становится топот множества копыт, и собравшиеся толпы зрителей рассыпаются перед блестящей кавалькадой нарядных лордов и рыцарей. И впереди, и сзади, и с боков скачут их йомены, а посредине – король Джон.

Он подъезжает к приготовленной для него барке, и его встречают, выступив вперед, знатнейшие бароны. Он приветствует их шутками, и улыбками, и милостивыми речами, словно прибыл на праздник, устроенный в его честь. Но, перед тем как спешиться, он украдкой оглядывается на своих французских наемников и на обступившие его угрюмые ряды воинов, приведенных баронами.

Может быть, еще не поздно? Свалить могучим ударом зазевавшегося всадника рядом с ним, кликнуть французов, броситься очертя голову вперед, застигнуть врасплох стоящие впереди войска – и мятежные бароны проклянут тот день, когда они дерзнули выйти из повиновения. Более крепкая рука и сейчас еще сумела бы изменить ход событий. Окажись на месте Джона Ричард[24] – он выбил бы кубок свободы из рук Англии, и мечта о вольности осталась бы мечтой еще на многие сотни лет.

Но сердце короля Джона замирает при одном взгляде на суровые лица английских воинов, и рука короля Джона бессильно падает на поводья, и он сходит с коня и занимает предназначенное для него место на передней барке. И бароны сопровождают его, сжимая руками в железных перчатках рукояти мечей, и вот уже подан сигнал к отплытию.

Медленно покидают грузные, пышно разукрашенные барки берег Раннимида. Медленно плывут они, с трудом преодолевая стремительное течение и наконец, с глухим скрежетом пристают к маленькому островку, который отныне будет называться островом Великой Хартии Вольностей. Король Джон выходит на берег, и мы ждем, не дыша, в глубоком молчании, пока восторженные клики не оповещают нас о том, что краеугольный камень храма английской свободы заложен на долгие времена.

Глава XII

Генрих VIII и Анна Болейн. – Тяготы жизни, в доме, где есть влюбленная пара. – Трудные времена в истории английского народа. – Поиски живописности во мраке ночи. – Бездомные и бесприютные. – Гаррис прощается с жизнью. – Ангел нисходит с небес. – Действие нечаянной радости на Гарриса. – Легкий ужин. – Завтрак. – Все сокровища мира за горчицу! – Не на жизнь, а на смерть. – Мэйденхед. – Под парусом. – Три рыболова. – Нас предают анафеме.

Я сидел на берегу, воскрешая в своем воображении эти картины, как вдруг Джордж обратился ко мне и сказал, что если я уже достаточно отдохнул, то не соблаговолю ли принять участие в мытье посуды. Покинув дни нашего героического прошлого, я перенесся в прозаическое, исполненное горя и скверны настоящее, сполз в лодку, вычистил сковородку щепкой и пучком травы и наконец отполировал ее мокрой рубашкой Джорджа.

Мы посетили остров Великой Хартии[25] и осмотрели хранящийся там в домике камень, на котором она, по преданию, была подписана; впрочем, произошло ли это событие именно здесь, на острове, или, как утверждают некоторые, на берегу реки у Раннимида, установить трудно. Лично я, например, склоняюсь в пользу общепринятой островной теории. Будь я одним из тогдашних баронов, я, без сомнения, втолковал бы своим единомышленникам, что с таким увертливым субъектом, как король Джон, куда легче справиться на острове, где у него меньше простора для всяких уловок и подвохов.

Неподалеку от мыса Пикников на землях Энкервикского замка находятся развалины того старинного монастыря, в садах которого, как утверждают, Генрих VIII назначал свидания Анне Болейн.[26] Их встречи происходили также у Хевер-Касла в Кенте и еще где-то поблизости от Сент-Олбенса. Пожалуй, англичанам в те времена нелегко было найти такой уголок, где бы не любезничали эти юные сумасброды.

Случалось ли вам жить в доме, где есть влюбленная пара? Что это за наказание! Скажем, вам захотелось посидеть в тишине, и вы идете в гостиную. Вы открываете дверь, и до ваших ушей долетает странное восклицание, словно кто-то наступил на змею; когда вы входите, Эмили, стоя у окна, с напряженным вниманием наблюдает за противоположной стороной

улицы, а ваш друг Джон Эдуард на другом конце комнаты жадно изучает альбом с фотографиями неведомо чьих бабушек и тетушек.

«Ах! – говорите вы, застывая в дверях. – Я понятия не имел, что здесь кто-то есть».

«Да неужели?» – холодно отвечает Эмили тоном, который не оставляет сомнений в том, что она вам попросту не верит.

Послонявшись некоторое время по комнате, вы мямлите:

«Как здесь темно! Почему бы вам не зажечь газ?»

Джон Эдуард говорит, что он не заметил, как стемнело. Эмили говорит, что папа не любит, когда газ зажигают слишком рано.

Вы сообщаете им газетные новости и подробно излагаете свою точку зрения на ирландский вопрос,[27] но они не проявляют ни малейшего интереса. «О!», «Неужели?», «Правда?», «Да?», «Не может быть!» – вот и все их комментарии. После десятиминутной беседы в таком стиле вы бочком выскальзываете из комнаты и, к величайшему своему удивлению, слышите, как дверь с треском захлопывается за вами без малейшего участия с вашей стороны.

Через полчаса вы идете в оранжерею выкурить трубку. Единственный стул занят Эмили; Джон Эдуард, насколько можно судить по состоянию его костюма, только что сидел на полу. Они ничего не говорят, но в их взглядах, обращенных на вас, вы можете прочесть решительно все нелестные выражения, какие только допустимы в цивилизованном обществе; вы панически отступаете и плотно притворяете за собой дверь.

После этого вы уже не рискуете сунуть нос ни в одну из комнат этого дома. Вы прогуливаетесь некоторое время вверх и вниз по лестнице, а потом решаете засесть у себя в спальне, наверху. Но вскоре вас начинает одолевать скука и вы надеваете шляпу и спускаетесь. в сад. Вы бродите по дорожкам и, проходя мимо беседки, заглядываете в нее, и там, забившись в самый угол, сидит все та же пара юных идиотов; они видят вас и явно начинают подозревать, что вы преследуете их с какой-то дьявольской целью.

«Почему бы не отвести в доме специальное помещение для таких занятий и не посадить туда этих остолопов?» – бормочете вы и тут же кидаетесь в холл, хватаете свой зонтик и бежите куда глаза глядят.

Нечто подобное происходило, вероятно, в те дни, когда ветреный мальчишка Генрих VIII ухаживал за своей крошкой Анной. Жители Бакингемшира постоянно натыкались на эту парочку во время ее идиллических прогулок по Виндзору и Рейсбери и всякий раз восклицали: «Ах, это вы?» – на что Генрих отвечал, краснея: «Да, мне нужно было здесь кое-кого повидать!» – а Анна щебетала: «Как я рада вас видеть! Подумать только, я случайно встретилась на лужайке с мистером Генрихом VIII, и оказалось, что нам по пути!»

Добрые бэкингемширцы отправлялись восвояси и думали: «Нехорошо мешать этим невинным голубкам, пусть себе воркуют. Пойдем-ка лучше в Кент!»

И они брели в Кент, и сразу же, нос к носу, сталкивались с Генрихом и Анной, которые слонялись вокруг Хевер-Касла.

«Да что за дьявол! – говорили бэкингемширцы. – Просто смотреть тошно! Куда бы нам убраться? Пошли в Сент-Олбенс. Сент-Олбенс – прелестное местечко!»

Но, добравшись до Сент-Олбенса, они заставали все ту же злополучную парочку, целующуюся у стен аббатства. И тогда они уходили к пиратам и занимались морским разбоем, пока влюбленные наконец не поженились.



Участок реки между мысом Пикников и Старо-Виндзорским шлюзом очарователен. Тенистая дорога, вдоль которой разбросаны чистенькие уютные коттеджи, бежит по берегу к гостинице «Узлийские колокола» – живописной, как и все прибрежные гостиницы; вдобавок там, по словам Гарриса, превосходный эль, – а в таких вопросах на слово Гарриса можно положиться. Старый Виндзор в своем роде весьма знаменитое место. Здесь стоял дворец Эдуарда Исповедника,[28] и здесь же могущественный граф Годвин[29] был по законам того времени признан виновным в покушении на жизнь брата короля. Граф Годвин отломил кусок хлеба и сказал, держа его в руке:

«Подавиться мне этим куском, если я виновен!»

Он положил хлеб в рот, проглотил его, подавился и умер.

Дальше, за Старым Виндзором, река малопривлекательна, и только вблизи Бовени к ней возвращается прежняя прелесть. Мы с Джорджем тащили лодку бечевой мимо Хоум-парка, который тянется по правому берегу реки от моста Альберта до моста Виктории, и когда мы миновали Дэтчет, Джордж спросил, помню ли я нашу первую прогулку по Темзе, и как мы высадились в Дэтчете около десяти часов вечера, и как мечтали о ночлеге.

Я ответил, что помню. Так скоро этого не забудешь.

Это произошло в субботу накануне августовских каникул.[30] Мы – все та же троица – устали и проголодались и, добравшись до Дэтчета, вытащили из лодки корзину, и два саквояжа, и пледы, и пальто, и прочее, и отправились на поиски пристанища. Мы нашли чудесную маленькую гостиницу, увитую плющом и повиликой, но там не было жимолости, а мне, по непонятной причине, втемяшилась в голову именно жимолость, и я сказал:

«Нет, не стоит здесь останавливаться! Давайте пройдем еще немного и посмотрим, не найдется ли тут гостиницы с жимолостью».

Мы двинулись в путь и шли до тех пор, пока не набрели на другую гостиницу, тоже премиленькую и, к тому же, увитую жимолостью. Но тут Гаррису не понравился вид человека, который стоял, прислонясь к входной двери. Гаррис сказал, что на нем уродливые башмаки и вообще он не производит впечатления порядочного человека; поэтому мы пошли дальше. Мы прошли изрядное расстояние, не приметив ни одной гостиницы, и тут нам повстречался прохожий, и мы попросили его указать нам дорогу. Он сказал:

«Позвольте, да ведь вы идете в противоположную сторону! Поворачивайте и идите обратно, и вы попадете прямо к „Оленю“!»

Мы сказали:

«Знаете, мы там уже были и нам не понравилось, – совсем нет жимолости».

«Что ж, – сказал он, – тогда есть еще Мэнор-хаус, как раз напротив „Оленя“. Вы не были там?»

Гаррис ответил, что нам не хочется туда идти, – нам не понравился вид человека, который там стоял; Гаррису не понравился цвет его волос и не понравились его башмаки.

«Вот уж не знаю, как вам и быть, – сказал прохожий. – У нас нет других гостиниц».

«Нет других гостиниц?» – воскликнул Гаррис.

«Нет», – ответил тот.

«Куда же нам теперь деваться?» – взвыл Гаррис.

Тогда взял слово Джордж. Он предложил нам с Гаррисом построить гостиницу себе по вкусу и поселить в ней, кого нам будет угодно. Что же касается его, то он пойдет обратно к «Оленю».

Величайшим гениям человечества никогда не удавалось воплотить в действительность свои идеалы: так и мы с Гаррисом познали тщету земных желаний и поплелись вслед за Джорджем.

Мы притащили свой багаж к «Оленю» и сложили его на пол в холле.

Хозяин гостиницы вышел к нам и сказал:

«Добрый вечер, джентльмены».

«Добрый вечер, – отозвался Джордж. – Пожалуйста, предоставьте нам три постели».

«Мне очень жаль, сэр, – отозвался хозяин, – но боюсь, что это невозможно».

«Ну что ж, так и быть, – сказал Джордж, – обойдемся двумя. Двое из нас поспят на одной постели… Не так ли?» – продолжал он, обращаясь к Гаррису и ко мне.

«Разумеется», – сказал Гаррис, считая, что мне и Джорджу одной кровати хватит за глаза.

«Очень жаль, сэр, – повторил хозяин, – но во всем доме нет ни одной свободной кровати. Если хотите знать, у нас на каждой кровати спят по двое, а то и по трое джентльменов».

Сперва мы пришли в отчаяние.

Но Гаррис, как опытный путешественник, оказался на высоте положения и, весело смеясь, сказал:

«Ладно, тут уж ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Устройте нас как-нибудь в бильярдной».

«Мне очень жаль, сэр. Три джентльмена уже спят на бильярде и двое в гостиной. Нет никакой возможности устроить вас на эту ночь».

Мы навьючили на себя вещи и побрели в Менор-хаус. Там было очень уютно. Я сказал, что эта гостиница мне больше по душе, чем «Олень», а Гаррис сказал: «Ну, еще бы!» – и добавил, что все будет в порядке и не к чему нам обращать внимание на рыжего человека; к тому же, бедняга не виноват, что он рыжий.

Гаррис был настроен очень кротко и вполне разумно.

В Мэнор-хаусе нам просто не дали рта раскрыть. Хозяйка приветствовала нас на пороге сообщением, что мы уже четырнадцатая компания, которую она спроваживает за последние полтора часа. Наши робкие намеки на конюшни, бильярдную и угольный подвал она встретила презрительным смехом: все эти уютные местечки давным-давно расхватаны.

Не знает ли она, где мы могли бы найти приют на ночь?

Ну, если только мы не требовательны… она, конечно, не может рекомендовать… но в полумиле отсюда на итонской дороге есть трактирчик…

Мы не дослушали, подхватили корзину, и саквояж, и пальто, и пледы, и пакеты и побежали. Эта полумиля больше смахивала на милю, но мы ее все-таки одолели и, запыхавшись, ворвались в бар.

Там с нами обошлись невежливо. Нас просто высмеяли. Во всем доме было только три кровати, и на них уже устроились семь одиноких джентльменов и две супружеские пары. Случившийся тут же добросердечный лодочник посоветовал нам попытать счастья у бакалейщика по соседству с «Оленем», и мы пошли назад.

У бакалейщика все было переполнено. В лавке мы встретили какую-то старуху, и она сжалилась над нами и взялась проводить к своей знакомой, которая жила в четверти мили от лавки и иногда сдавала комнаты джентльменам.

Мы тащились туда двадцать минут, потому что старуха еле передвигала ноги. Она украшала наше путешествие рассказами о донимавших ее болях в пояснице, которые отличались исключительным разнообразием.

Комнаты ее приятельницы были заняты. Отсюда нас отослали в дом *N27*, *N27 был битком набит и отправил нас в N* 32, а *N32 был тоже набит*.

Тогда мы вернулись на большую дорогу, и тут Гаррис уселся на корзину и объявил, что дальше не пойдет. Он сказал, что хочет умереть в этом тихом уголке. Он попросил нас с Джорджем передать прощальный поцелуй его матери и сказать всем родственникам, чти он их простил и умер счастливым.

В эту минуту нам явился ангел, принявший образ мальчишки (перевоплощение было столь полным, что более полного перевоплощения и пожелать нельзя); в одной руке он держал кувшин пива, а в другой – обрывок веревки, к концу которого была привязана какая-то штуковина: он опускал ее на каждый плоский камень, попадавшийся ему по пути, и тотчас дергал кверху, производя при этом такой душераздирающий звук, что кровь застывала в жилах.

Мы спросили этого (не сразу узнанного нами) посланца небес, не знает ли он какого-нибудь уединенного домика с немногочисленными и немощными обитателями (желательно, престарелыми леди или парализованными джентльменами), которых нетрудно было бы напугать и заставить уступить на одну ночь свои постели людям, доведенным до крайности и готовым на все; или, может быть, он укажет нам пустующий свинарник, или заброшенную печь для обжига извести, или что-нибудь в этом роде. Ничего такого он не знал – по крайней мере поблизости, – но он сказал, что если мы желаем, то можем пойти с ним, и его мамаша, у которой есть свободная комната, пустит нас переночевать.

Мы бросились ему на шею и благословляли его, и луна кротко озаряла нас, и это была бы страшно трогательная сцена, если бы перегруженный нашими чувствами мальчик не свалился на землю под их тяжестью, а мы все не рухнули на него. Гаррис так преисполнился радости, что потерял сознание, и ему пришлось схватить кувшин с пивом и наполовину осушить его, чтобы прийти в себя; после этого он пустился рысью и предоставил нам с Джорджем тащить весь багаж.

Мальчик жил в маленьком коттедже из четырех комнат, и его мать – добрая душа – подала нам на ужин поджаренный бекон, и мы съели его до крошки – все пять фунтов! – и еще пирог с вареньем, и выпили два полных чайника чаю, и после этого отправились спать. Кроватей было две: раскладная койка шириною в два с половиной фута, на которой улеглись мы с Джорджем, привязавшись друг к другу для безопасности простыней, и детская кроватка, поступившая в безраздельное пользование Гарриса; наутро мы о Джорджем увидели, что из нее торчат два погонных фута Гаррисовых ног, и тут же воспользовались ими как вешалкой для полотенец.

Когда мы в следующий раз попали в Дэтчет, мы были куда менее разборчивы по части гостиниц.

Но вернемся к нашему теперешнему путешествию: мы спокойно, без всяких приключений, протащили лодку почти до самого Обезьяньего острова, пристали к берегу и начали готовить ленч. У нас была припасена холодная говядина, но горчицу мы, как выяснилось, забыли.

Никогда в жизни, ни прежде, ни потом, я не испытывал такой тоски по горчице, как в ту минуту. Вообще говоря, я не люблю горчицу и почти никогда ее не употребляю, но тут я отдал бы за нее все сокровища мира.

Я не представляю себе, сколько насчитывается в мире сокровищ, но если бы кто-нибудь предложил мне в этот критический момент ложку горчицы, – он получил бы их все сполна. Когда я не могу достать то, чего мне хочется, я не знаю удержу.

Гаррис тоже предлагал любые сокровища за горчицу. Если бы кто-нибудь забрел к нам с банкой горчицы в руках, он мог бы провести недурную коммерческую операцию и обеспечить себя на весь остаток дней.

Впрочем, нет! Боюсь, что, получив горчицу, и я и Гаррис попытались бы расторгнуть сделку. Бывает, что сгоряча человек готов на самые невообразимые жертвы, но потом, немного поразмыслив, он начинает понимать, насколько они несоразмерны с ценностью предмета его вожделений. Мне рассказывали о джентльмене, который путешествовал по Швейцарии и как-то, карабкаясь на гору, тоже обещал сокровища за стакан пива. Когда же ему в каком-то домишке подали пиво (и притом превосходное), он учинил страшнейший скандал из-за того, что с него спросили пять франков за бутылку. Он кричал, что это бесстыдное вымогательство, и даже написал письмо в «Таймс».

Отсутствие горчицы повергло нас в глубокое уныние. Мы молча жевали говядину. Жизнь казалась нам пустой и безрадостной. Мы предавались воспоминаниям о днях золотого детства и вздыхали. Впрочем, перейдя к яблочному пирогу, мы несколько воспрянули духом, а когда Джордж извлек со дна корзины и водрузил в центре лодки банку ананасов, мы почувствовали, что в общем жизнь – стоящая вещь!

Мы, все трое, страшно любим ананасы. Мы рассматривали этикетку на банке. Мы вспоминали вкус ананасного сока. Мы улыбались друг другу, а Гаррис уже вооружился ложкой.

Оставалось найти консервный нож и открыть банку. Мы вытряхнули все из корзины. Мы вывернули саквояж, мы подняли доски, настланные на дне лодки. Мы перерыли все вещи и выбросили их на берег. Консервного ножа не было.

Тогда Гаррис попытался открыть банку карманным ножом, сломал нож и здорово порезался. Потом Джордж попытался открыть ее ножницами, изуродовал ножницы и чуть было не выколол себе глаз. Пока они перевязывали раны, я сделал попытку продырявить эту штуку острием багра, – багор соскользнул, я полетел за борт, в двухфутовый слой жидкой грязи, а целехонькая банка покатилась прочь и разбила чайную чашку.

Тогда мы все взбесились. Мы перенесли банку на берег, и Гаррис отправился в поле и отыскал здоровенный острый камень, а я вернулся в лодку и вытащил из нее мачту, а Джордж держал банку, а Гаррис наставил на нее камень острым концом, а я взял мачту, поднял ее высоко над головой и трахнул изо всех сил.

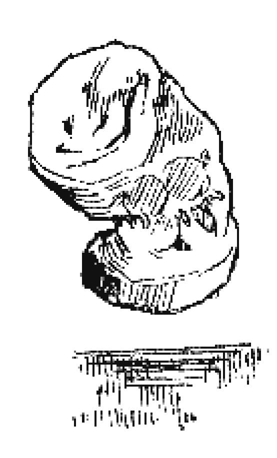
Соломенная шляпа – вот что спасло Джорджу жизнь. Он хранит ее (вернее, то, что от нее осталось) до сих пор, и в зимние вечера, когда дымят, трубки и приятели рассказывают друг другу нескончаемые истории о пережитых опасностях, Джордж приносит ее вниз, и пускает по рукам, и вновь и вновь излагает эту волнующую повесть, всякий раз пополняя ее новыми подробностями.

Гаррис отделался простой царапиной.

После этого я схватил банку и колотил по ней мачтой, пока не выбился из сил и не пришел в полное отчаяние, и тогда ею завладел Гаррис.

Мы расплющили эту банку в лепешку; потом мы сделали ее вновь квадратной; мы придавали ей самые удивительные геометрические формы, но пробить отверстие мы не могли. Тогда за дело взялся Джордж, и под его ударами она приняла такие причудливые, такие

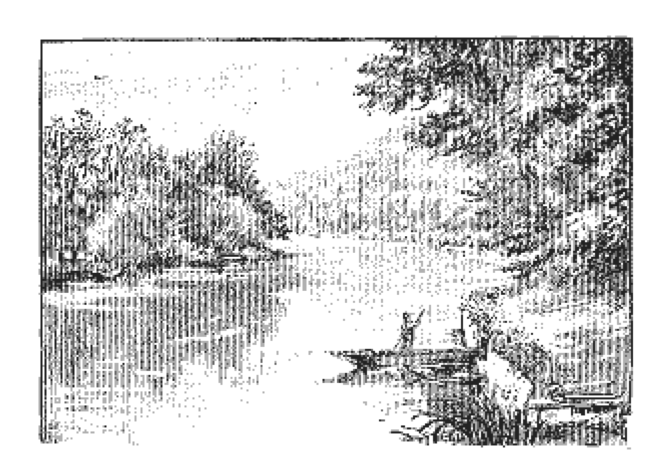
уродливые, такие мистически-жуткие очертания, что он испугался и бросил мачту. И мы, все трое, уселись на траве и уставились на банку.



Поперек ее верхнего донышка шла глубокая борозда, которая придавала ей сходство с ухмыляющейся рожей, и это привело нас в такую ярость, что Гаррис вскочил, схватил эту банку и со всего-размаху швырнул на самую середину реки; и когда она потонула, мы прохрипели ей вдогонку проклятия, сели в лодку, оттолкнулись от этого берега, и до самого Мэйденхеда нигде не останавливались.

Мэйденхед – малоприятное место. Это резиденция курортных франтов и их расфуфыренных спутниц. Это город роскошных отелей, посещаемых главным образом хлыщами и девицами из кордебалета. Это дьявольская кухня, из которой расползаются во все стороны речные чудища – паровые катера. Именно здесь, в Мэйденхеде, находятся «уютные гнездышки» герцогов из «Великосветской хроники», и сюда же обычно приезжают героини трехтомных романов; чтобы пообедать и покутить с чужими мужьями.

Мы быстро миновали Мэйденхед, облегченно вздохнули и не спеша поплыли по широкому плесу между Боулстерским и Кукэмским шлюзами, Кливденский лес, который стоит у самой воды, еще не износил к этому времени изысканного весеннего наряда, и в его чудесной листве гармонично сливались все оттенки нежнейшего зеленого цвета. Пожалуй, ничто на всей Темзе не может сравниться с незабываемой прелестью этого уголка, и мы медленно и неохотно уводили свое суденышко из волшебного царства тишины и покоя.



Добравшись до заводи пониже Кукэма, мы устроили чаепитие; когда мы проходили шлюз, уже наступил вечер. Поднялся сильный ветер, – как ни странно, попутный. Обычно ветер на реке упорно дует вам навстречу, в какую бы сторону вы ни плыли. Он дует вам навстречу поутру, когда вы отчаливаете от берега, и вы целый день гребете, подбадривая себя предвкушением того, как приятно будет возвращаться под парусом. Но к вечеру его направление меняется, и вам ничего не остается, как снова грести против ветра до самого дома.

Но если вы забыли взять с собой парус, тут уж ветер будет попутным в оба конца. Что поделаешь! Наш мир – это юдоль скорбей, и человек создан, чтобы страдать, как солнце – чтобы светить.

Однако на этот раз, очевидно, произошло какое-то недоразумение, и ветер подул нам в спину, вместо того чтобы дуть в лицо. Мы не растерялись и подняли парус раньше, чем стихии заметили свою ошибку; затем мы развалились в мечтательных позах, парус затрепетал, надулся, мачта заскрипела, и мы поплыли.

На руле сидел я.

По-моему, ничто на свете не дает такого волнующего ощущения, как плавание под парусом. Только на парусной лодке – да еще, пожалуй, во сне – человеку дано испытать чувство полета. Кажется, что крылья ветра стремительно несут вас неведомо куда. Вы больше не жалкая, неповоротливая, бессильная тварь, с трудом ползущая по земле, – нет, вы дитя Природы! Ваше сердце бьется в унисон с ее сердцем. Она обвивает вас руками и прижимает к своей груди. Вы духовно сливаетесь с нею. Ваше тело становится легким, как пух. Вы слышите пение неведомых голосов. Земля кажется вам далекой и маленькой, а облака, реющие над вашей головой, близки вам, как братья, и вы простираете к ним руки.

Мы были совсем одни на реке. Только где-то вдали чуть виднелась стоящая на якоре посредине течения плоскодонка, в которой сидели три рыболова; наша лодка скользила по реке, и берега проплывали мимо нас, и мы хранили молчание.

Я по-прежнему сидел у руля.

Подойдя ближе, мы увидели, что рыболовы были пожилые и важные. Они сидели в плоскодонке на стульях и не отрываясь следили за своими удочками. А багряный закат заливал реку таинственным светом, и золотил верхушки деревьев, и превращал громоздящиеся облака в огромный сверкающий венец. Это был час, исполненный глубокого очарования, страстной надежды и томления. Наш маленький парус отчетливо вырисовывался на фоне огненного неба, сумерки сгущались вокруг нас, окутывая мир радужными тенями, а сзади уже подкрадывалась ночь.

Нам казалось, что мы, подобно рыцарям из какой-то старинной легенды, переплываем таинственное озеро, направляясь в неведомое царство сумерек, в необъятный край заходящего солнца.

Мы не попали в царство сумерек; вместо этого мы со всего размаху врезались в лодку с тремя престарелыми удильщиками. Сперва мы не могли понять, что, собственно, случилось, так как парус заслонял от нас картину происшествия, но по характеру выражений, огласивших вечерний воздух, можно было догадаться, что где-то поблизости находятся человеческие существа, настроенные, к тому же, весьма недоброжелательно.

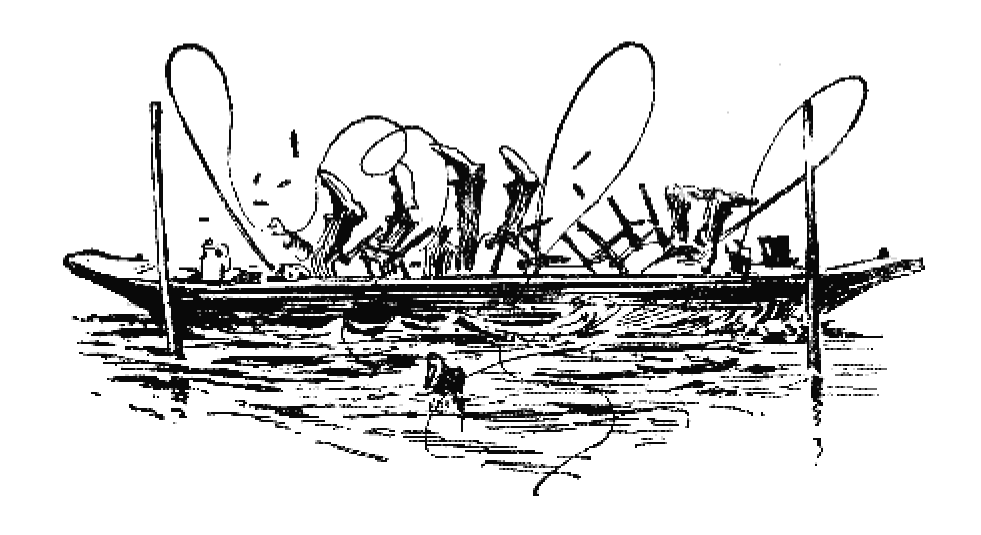
Гаррис спустил парус, и тут мы увидели, что случилось. Мы сшибли трех почтенных джентльменов с их стульев, и они смешались на дне лодки в беспорядочную кучу, и теперь медленно и мучительно пытались освободиться друг от друга и от наловленной ими рыбы. Предаваясь этому занятию, они осыпали нас бранью: не повседневными, трафаретными ругательствами, а сложными, тщательно подобранными, замысловатыми проклятиями, которые восходили к нашему прошлому, и заглядывали в далекое будущее, и включали наших родственников, и охватывали всех наших ближних, – добротными, сочными проклятиями.

Гаррис объяснил джентльменам, что они должны быть благодарны нам за это маленькое развлечение, после того как целый день просидели здесь со своими удочками. Он добавил еще, что испытывает глубокую скорбь при виде того, как безрассудно предаются гневу джентльмены столь почтенного возраста.

Но это их не умиротворило.

Джордж сказал, что теперь у руля сядет он. Он сказал, что, как и следовало ожидать, такой выдающийся ум, как мой, не способен безраздельно отдаться управлению лодкой; заботу о лодке следует поручить более заурядной личности, пока мы не пошли на дно ко всем чертям. И он отобрал у меня руль и повел лодку в Марло.

А в Марло мы оставили лодку у моста и устроились на ночлег в «Короне».



Глава XIII

Марло. – Бишемское аббатство. – Медменхэмские монахи. – Монморанси замышляет убийство старого кота. – Но в конце концов решает подарить ему жизнь. – Позорное поведение фокстерьера в универсальном магазине. – Наше отбытие из Марло. – Величественная процессия. – Паровой катер; общедоступное руководство по борьбе с ним. – Мы отказываемся выпить реку. – Смирная собака. – Загадочное исчезновение Гарриса и пудинга.

Марло, по-моему, одно из самых приятных мест на Темзе. Это оживленный, кипучий городишко; в целом он, правда, не очень живописен, но все же в нем можно найти немало занятных уголков и закоулков. Они все еще существуют, эти неколебимые устои полуразрушенного моста времени, по которому воображение возвращает нас к тем далеким дням, когда Марло Мэнор был владением саксонца Эльгара, задолго до того как Вильгельм Завоеватель[31] захватил это поместье, чтобы подарить его королеве Матильде, и задолго до того, как оно перешло в руки сперва графов Уориков, а позднее – хитроумного лорда Пэджета, советника четырех сменявших друг друга государей.

Если вы любите после плавания в лодке погулять по берегу, то найдете, что и окрестности города привлекательны, а река на диво хороша. Ближе к Кукэму, за Куэррийским лесом, раскинулась прелестная излучина Темзы. Милый старый Куэррийский лес, как узки твои заросшие тропинки, как причудливо изрезаны опушки! Как долго хранится в памяти твой аромат, и как напоминает он нам о летних солнечных днях! Как ласково улыбаются нам призраки прошлого из глубины твоих тенистых прогалин! Как нежно звучат голоса былого в шепоте листвы!



От Марло до Соннинга местность еще красивее. На правом берегу, в полумиле от моста, стоит огромное древнее Бишемское аббатство, где некогда гулко отражались от каменных стен возгласы тамплиеров,[32] где нашла приют Анна Клевская,[33] а позднее – королева Елизавета. История Бишемского аббатства богата мелодраматическими эпизодами. В нем есть спальня, обитая гобеленами, и потайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холли, которая до смерти засекла своего маленького сына, все еще бродит по ночам, пытаясь смыть кровь со своих призрачных рук в столь же призрачной чаше.

Здесь покоится Уорик, «делатель королей»,[34] которого теперь уже не тревожат суетные заботы о земном могуществе и земных коронах, а также Солсбери,[35] сыгравший немаловажную роль в битве при Пуатье. Не доходя до аббатства, справа от него, на берегу стоит Бишемская церковь, и если существуют на свете могилы, заслуживающие внимания, – это могилы и надгробия Бишемской церкви; Шелли, который жил в Марло (вы можете осмотреть его дом на Уэст-стрит), катался в лодке под бишемскими буками и сочинил здесь «Восстание ислама».

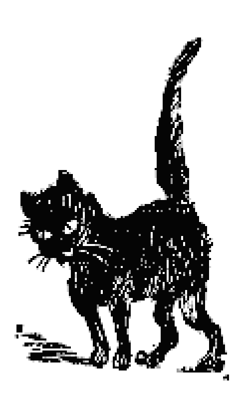
Чуть подальше, у Харлийской плотины, я мог бы, вероятно, жить целый месяц, впивая прелесть окружающего пейзажа, но и этого было бы недостаточно. В пяти минутах ходьбы от шлюза расположен городок Харли – одно из древнейших поселений на Темзе. Он существует здесь «со времен короля Сэберта и короля Оффы»,[36] как выражались в те далекие дни. Сразу же за плотиной (вверх по течению) начинается Датское Поле,[37] где однажды во время похода на Глостершир разбили свой лагерь наступающие датчане, а еще дальше, в уютной излучине, приютилось то, что осталось от Медменхэмского аббатства.

Знаменитых медменхэмских монахов[38] называли обычно монахами «Ордена Геенны Огненной»; пресловутый Уилкс[39] был членом этого, братства. Их девиз гласил: «Поступай как тебе вздумается!» – изречение, которое до сих пор красуется над полуразрушенными воротами аббатства. А раньше, за много лет до того, как эта компания отнюдь не благочестивых шутников основала свое так называемое «аббатство», тут стоял монастырь, отличавшийся более строгими нравами, и монахи, которые жили в нем, были совсем не похожи на бражников, занявших их место пятьсот лет спустя.

Монахи-цистерцианцы,[40] аббатство которых стояло на этом месте в тринадцатом веке, носили, вместо обычной одежды, грубую рясу с клобуком и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и служили ночную мессу. Дни свои они проводили в труде, чтении и молитвах. Гробовое безмолвие окутывало их жизнь, так как все они давали обет молчания. Мрачную жизнь вело это мрачное братство в благословенном уголке, который бог сотворил таким веселым и радостным! Как странно, что голос Природы, звучавший в нежном напеве водяных струй, в шепоте прибрежной травы и в музыке ветерка, не научил их более мудро относиться к жизни. Они жили здесь в молчании, день за днем прислушиваясь, не раздастся ли голос с небес; текли медлительные дни и торжественные ночи, этот голос взывал к ним на тысячу ладов, но они его не слышали.

От Медменхэма до живописного Хэмблдонского шлюза Темза полна тихой прелести, но за Гринлендсом и до самого Хенли она уныла и неинтересна. В скучном Гринлендсе обычно проводит лето владелец киоска, где я покупаю газеты, – спокойный, скромный пожилой джентльмен, искусный гребец, которого нередко можно встретить в этих местах катающимся в лодке или сердечно беседующим с каким-нибудь-престарелым сторожем при шлюзе.

В понедельник утром, в Марло, мы встали довольно рано и отправились выкупаться до завтрака. На обратном пути Монморанси вел себя как форменный осел. Единственный предмет, по поводу которого мы с Монморанси коренным образом расходимся во взглядах, – это кошки. Я обожаю кошек – Монморанси терпеть их не может.



Стоит мне повстречать кошку, как я сажусь на корточки и начинаю почесывать ей шейку, приговаривая: «Бедная киска». А кошка, в свою очередь, выгибает спину, ставит хвост трубой (причем он становится твердым, как железо) и трется носом о мои брюки, и кругом царит мир и благоволение. Стоит Монморанси встретиться с кошкой, как об этом тотчас узнает вся улица и уж тут пускается в ход такое количество бранных выражений, какого обыкновенному порядочному человеку при разумной экономии хватило бы на всю жизнь!

Я не осуждаю собак (как правило, я довольствуюсь несколькими пинками или запускаю в них камнем), так как считаю, что этот порок заложен в самой собачьей природе. Фокстерьеры подвержены первородному греху раза в четыре больше, чем прочие собаки, и от нас, христиан, требуется много лет терпеливых стараний, чтобы добиться сколько-нибудь заметных улучшений в сварливом характере фокстерьера.

Вспоминаю один случай в вестибюле хэймаркетского универсального магазина, где множество собак поджидало своих хозяев, ушедших за покупками. Там были мастиф, два колли и сенбернар, несколько ищеек и ньюфаундлендов, гончая, французский пудель (совершенно облезлый, но с кудлатой головой), бульдог, несколько болонок величиной с крысу и две дворняжки из Йоркшира.

Они сидели терпеливо, благонравно и задумчиво. Мир и благопристойность царили в вестибюле, создавая атмосферу удивительного покоя, покорности и тихой грусти.

Но вот вошла прелестнейшая молодая леди, ведя на цепочке кроткого с виду фокстерьерчика; она оставила его между бульдогом и пуделем. Песик уселся и с минуту осматривался. Затем он уставился в потолок и задумался,

– судя по его глазам, о своей мамаше. Затем он зевнул. Затем он оглядел других собак, молчаливых, важных и полных достоинства.

Он посмотрел на бульдога, безмятежно спавшего справа. Он посмотрел на пуделя, чинно и надменно сидевшего слева. Затем, без всяких прелиминарии, без намека на какой-нибудь повод, он цапнул пуделя за ближайшую переднюю лапу, и отчаянный визг огласил спокойно дремавший вестибюль.

Найдя результат первого эксперимента вполне удовлетворительным, фоксик решил пойти еще дальше и задать жару остальным. Он перескочил через пуделя и бешено атаковал колли, который проснулся, разозлился и немедленно вступил в шумную перебранку с пуделем. Тогда фоксик вернулся на свое место, схватил бульдога за ухо и попытался начисто оторвать его, а бульдог, животное на редкость беспристрастное, обрушился на всех, до кого только мог добраться, – он не пощадил и швейцара, предоставив тем самым симпатичному фокстерьерчику полную возможность беспрепятственно насладиться поединком со столь же воинственно настроенной дворняжкой.

Людям, которые хоть сколько-нибудь разбираются в собачьем характере, нет нужды объяснять, что к этому времени все остальные собаки открыли военные действия с таким жаром, будто их жизни и домашним очагам грозила смертельная опасность. Большие собаки дрались между собой; маленькие собачки тоже дрались друг с другом, а в свободные минуты кусали больших собак за лапы.

Шум стоял ужасный, и вестибюль превратился в кромешный ад. Вокруг здания собралась толпа, и все спрашивали, не происходит ли тут собрание налогоплательщиков, а если нет, то кого убивают и за что? Чтобы растащить собак, были пущены в ход палки и веревки, а кто-то даже послал за полицией.

В самый разгар свалки вернулась прелестная молодая леди и схватила на руки своего прелестного песика (он вывел дворнягу из строя по крайней мере на месяц, и вид у него был теперь кроткий, как у новорожденного ягненка); она целовала его и спрашивала, жив ли он и что сделали с ним эти страшные, огромные, грубые псы, а он уютно устроился у нее на груди, и взгляд его, казалось, говорил: «Ах, какое счастье, что ты пришла и избавила меня от этого позорного зрелища!»

А леди сказала, что это возмутительно – оставлять в вестибюле магазина подобных чудовищ вместе с собаками порядочных людей – и что она кое на кого подаст в суд.

Таков характер фокстерьеров; поэтому я не осуждаю Монморанси за его привычку ссориться с кошками. Впрочем, в это утро он и сам пожалел, что дал волю своим страстям.

Мы, как я уже говорил, возвращались после купания, и на полпути, когда мы шли по Хай-стрит, какая-то кошка выскочила из ворот и собралась перебежать нам дорогу. Монморанси издал радостный вопль – вопль, какой издает старый вояка, когда ему в руки попадается враг; вопль, какой издал, вероятно, Кромвель, когда шотландцы начали спускаться с холма, – и помчался за добычей.

Его жертвой был старый черный котище. Я в жизни не встречал кота такой устрашающей величины. К тому же, он выглядел отъявленным головорезом. У него не хватало одного уха, половины хвоста и изрядного куска носа. Это был громадный и явно очень сильный зверь. Он являл собой воплощение наглости и самодовольства.

Монморанси погнался за беднягой со скоростью двадцати миль в час, но кот даже не ускорил шага, – он, видимо, не подозревал, что его жизнь в опасности. Он безмятежно трусИл по дороге до тех пор, пока его будущий убийца не оказался на расстоянии какого-нибудь ярда; тут кот круто повернулся, уселся с любезным видом посреди улицы и кротко посмотрел на Монморанси, как бы спрашивая: «Ну-с, что вам угодно?»

Монморанси не робкого десятка, но во взгляде этого кота было нечто, от чего дрогнуло бы сердце самого мужественного пса. Монморанси застыл на месте и воззрился на врага.

Оба молчали, но было совершенно ясно, что между ними происходит следующий диалог:

Кот. Чем могу служить?

Монморанси. Ничем, ничем, покорно благодарю!

Кот. Если вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь, прошу вас!

Монморанси (отступая по Хай-стрит). Ах, нет, что вы!.. Вовсе нет… Не беспокойтесь… Я… я… кажется, ошибся… Мне показалось, что мы знакомы… Извините, что потревожил вас…

Кот. Что вы, я очень рад. Вам в самом деле ничего не нужно?

Монморанси (по-прежнему отступая). Нет, нет, благодарю вас… вовсе нет… Вы очень любезны. До свиданья!

Кот. До свиданья!

После этого кот поднялся и продолжал свой путь, а Монморанси, жалобно поджав то, что он именовал своим хвостом, поплелся назад к нам и занял скромную позицию в арьергарде.

С тех пор стоит только сказать: «Кошки!» – как Монморанси на глазах съеживается и умоляюще смотрит, словно говоря: «Пожалуйста, не надо!»

После завтрака мы отправились на рынок и закупили трехдневный запас провианта. Джордж объявил, что нам следует приналечь на овощи, – недостаток овощей может отразиться на нашем здоровье. Он добавил, что овощи легко варить и что он может взять эту обязанность на себя; итак, мы купили десять фунтов картофеля, бушель гороха и несколько кочанов капусты. В гостинице мы достали мясной пудинг, два пирога с крыжовником и баранью ногу, а фрукты, и кексы, и хлеб, и масло, и варенье, и бекон, и яйца, и все прочее приобрели в разных концах города.

Наше отбытие из Марло я считаю одним из величайших наших триумфов. Оно было внушительно, исполнено достоинства и вместе с тем скромно. В каждой лавке мы требовали, чтобы покупки не задерживали, а отправляли тут же, вместе с нами. Никаких этих: «Да, сэр, я отправлю их сию минуту; мальчик принесет их вам раньше, чем вы вернетесь, сэр», – а потом сиди дурак дураком на пристани и дважды возвращайся в лавки и скандаль там с лавочниками! Нет, мы ждали, пока корзину упакуют, и прихватывали мальчика с собой.

Мы обошли великое множество лавок, неуклонно проводя в жизнь этот принцип; в результате к концу нашей экспедиции мы стали обладателями богатейшей коллекции мальчиков с корзинами. Наше заключительное шествие к реке, по самой середине Хай-стрит, превратилось в величественное зрелище, которого Марло долго не забудет.

Порядок процессии был таков:

Монморанси, с тростью в зубах.

Две дворняги подозрительного вида, приятели Монморанси.

Джордж, с трубкой в зубах, нагруженный нашими пальто и пледами.

Гаррис, с набитым чемоданом в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой, пытающийся тем не менее придать своей походке некоторое изящество.

Мальчик от зеленщика и мальчик от булочника, с корзинами.

Рассыльный из гостиницы, с пакетом.

Мальчик от кондитера, с корзиной.

Мальчик от бакалейщика, с корзиной.

Лохматый пес.

Мальчик из молочной, с корзиной.

Носильщик, с саквояжем.

Приятель носильщика, – руки в брюки и глиняная трубка в зубах.

Мальчик от фруктовщика, с корзиной.

Я сам, с видом человека, понятия не имеющего о том, что у него в руках три шляпы и пара башмаков.

Шестеро мальчишек и четверка бродячих собак.



Когда мы добрались до пристани, лодочник спросил:

– Разрешите узнать, сэр, вы что арендовали: паровой катер или понтон?[41]

Услыхав, что всего лишь четырехвесельный ялик, он был, видимо, поражен.

Уйму хлопот доставили нам в это утро паровые катера; они тянулись вверх по реке один за другим, направляясь в Хенли, где на следующей неделе должны были начаться гребные гонки. Некоторые шли в одиночку, другие вели на буксире понтонный домик. Я ненавижу паровые катера; думаю, что это чувство знакомо всем любителям гребли. Стоит мне увидеть такой катер, как мною овладевает желание заманить его в какой-нибудь укромный, тихий, безлюдный уголок и там придушить.

Крикливое самодовольство этих катеров пробуждает во мне самые дурные инстинкты, и я горюю о добрых старых временах, когда можно было изложить человеку свое мнение о нем с помощью меча, лука и стрел. Уже одно выражение лица того субъекта, который, засунув руки в карманы, стоит на корме и курит сигару, само по себе дает достаточный повод для открытия военных действий, а повелительный гудок, означающий: «Прочь с дороги!», явится, я уверен, для любого состава присяжных, причастных к лодочному спорту, неоспоримым основанием, чтобы вынести вердикт: «Убийство при оправдывающих обстоятельствах».

Паровым катерам приходилось гудеть до потери сознания, чтобы заставить нас убраться с дороги. Пусть не сочтут меня хвастуном, если я честно признаюсь, что одна наша лодочка, болтаясь у них на дороге, доставила им за эту неделю больше хлопот, задержек и неприятностей, чем все остальные лодки, вместе взятые.

«Катер идет!» – кричит кто-нибудь из нас, едва только враг покажется вдалеке, и мы мгновенно начинаем готовиться достойно его встретить. Я хватаю рулевые шнурки, Гаррис и Джордж садятся рядом, обязательно спиной к катеру, и лодка тихонько дрейфует прямо на середину реки.

Куда нетерпеливо сворачивает катер, туда безмятежно дрейфуем и мы. Когда до нас остается какая-нибудь сотня ярдов, катер начинает гудеть как сумасшедший, и пассажиры перевешиваются через борт и орут во все горло, но мы их, конечно, не слышим. Гаррис рассказывает очередную историю о своей матушке, а мы с Джорджем жадно внимаем ему и не хотим упустить ни слова.

Наконец катер разражается таким ревом, что у него чуть не лопается котел, и он дает задний ход, и выпускает пар, и начинает сворачивать, и садится на мель. Люди на палубе кидаются к носовой части и поднимают страшный крик, на берегу собирается народ и ругает нас на чем свет стоит; все лодки останавливаются и принимают горячее участие в происходящем, и вскоре вся Темза на несколько миль вверх и вниз от места происшествия приходит в волнение. И тут только Гаррис обрывает свой рассказ на самом интересном месте, оглядывается и с легким удивлением говорит Джорджу:

«Господи боже, Джордж, уж не катер ли это?»

А Джордж отвечает:

«Смотри-ка, в самом деле! То-то я как будто слышал какой-то шум!»

После чего мы начинаем нервничать, теряемся и не можем сообразить, как увести лодку в сторону, а на палубе собирается целая толпа и все поучают нас:

«Загребай правой!.. Тебе говорят, идиот! Табань левой! Да не ты, а тот, что рядом!.. Оставь руль в покое, слышишь? Теперь оба дружно!.. Да не так! Ах, чтоб вам…»

Затем они спускают шлюпку и идут к нам на помощь, и после пятнадцатиминутной возни им удается оттащить нас в сторону, так что катер может теперь пройти. И мы горячо благодарим их и просим взять нас на буксир. Но они, как правило, не соглашаются.

Мы изобрели еще один превосходный способ доводить этих аристократов до белого каления. Мы делали вид, что принимаем их за участников пикника, устроенного какой-нибудь фирмой для своих служащих, спрашивали, не работают ли они у «Братьев Кюбит» или в страховой конторе «Бермондси», и в заключение просили их одолжить нам кастрюлю.

Престарелые леди, непривычные к катанию в лодке, обычно ужасно боятся паровых катеров. Помню, как однажды мы плыли из Стейнза в Виндзор (участок Темзы, который прямо-таки кишит этими механическими чудовищами) в компании с тремя леди упомянутого образца. Тревожное это было путешествие.

Стоило катеру появиться на горизонте, как они начинали требовать, чтобы мы пристали, высадились на берег и ждали, пока он не скроется из виду. Они твердили, что им очень жаль, но долг перед близкими не позволяет им рисковать жизнью.

Возле Хэмблдонского шлюза мы обнаружили, что у нас кончается питьевая вода; мы взяли кувшин и, поднявшись в домику шлюзового сторожа, попросили его пополнить наш запас.

Переговоры вел Джордж. Он изобразил приятную улыбку и сказал:

«Не будете ли вы так добры дать нам немного воды?»

«Пожалуйста, – ответил старик. – Берите сколько влезет. Тут хватит на всех и еще останется».

«Очень вам благодарен, – пробормотал Джордж, озираясь по сторонам. – Только… только, где вы ее держите?»

«Всегда в одном и том же месте, приятель, – хладнокровно ответил сторож, – как раз за вашей спиной».

«Не вижу», – сказал Джордж, оглядываясь.

«Да где ваши глаза, черт побери! – обозлился шлюзовщик, поворачивая Джорджа и указывая на реку. – Здесь не так уж мало, можно было и заметить».

«О! – воскликнул Джордж, начиная что-то соображать. – Но не можем же мы пить реку!»

«Пожалуй, но отпивать по глоточку вполне можете, – последовал ответ. – Я пью ее уже пятнадцать лет».

Джордж возразил сторожу, что его внешность никак не может служить рекламой речной воды и что он, Джордж, предпочитает колодезную.

Мы достали немного воды в коттедже, расположенном чуть повыше. Думаю, что, если бы мы стали допытываться, оказалось бы, что и эта вода взята прямо из реки. Но мы не стали допытываться, и все было в порядке. Чего не видит око, того не чувствует и желудок.

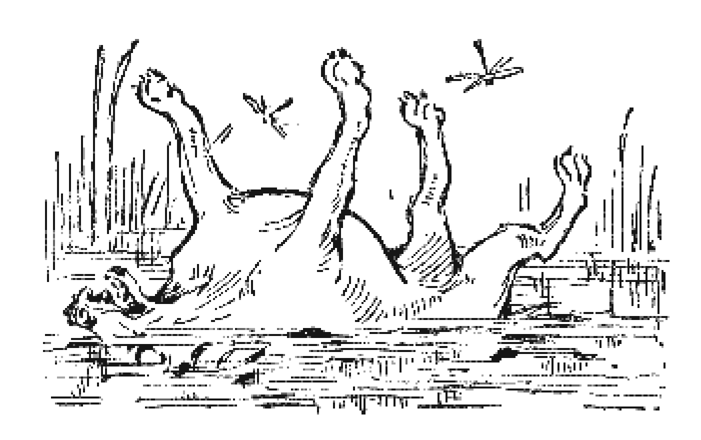
Несколько позже, тем же летом, нам пришлось попробовать речную воду, и она не привела нас в восторг. Мы спускались по течению и гребли изо всех сил, собираясь устроить чаепитие в заводи возле Виндзора. Наш кувшин был пуст, и мы стояли перед альтернативой: остаться без чая или взять воду из реки. Гаррис советовал рискнуть. Он сказал, что эту воду нужно только вскипятить и тогда все будет в порядке. Он сказал, что зловредные микробы, которые живут в воде, скончаются при кипячении. Мы наполнили котелок и старательно наблюдали за тем, чтобы вода действительно вскипела.

Мы все приготовили, устроились поудобнее и собирались приступить к чаепитию, когда Джордж, поднеся чашку к губам, вдруг остановился и воскликнул:

«Это что?»

«Что это?» – спросили мы с Гаррисом.

«А вот это!» – повторил Джордж, глядя на запад.



Проследив за направлением его взгляда, мы с Гаррисом увидели собаку, медленно плывшую по течению. Это была самая беззлобная и мирная собака из всех, когда-либо встречавшихся на моем жизненном пути. Более довольной, более ублаготворенной собаки просто невозможно себе представить. Она мечтательно плыла на спине, задрав к небу все четыре лапы. Я бы сказал, что это была хорошо упитанная собака, с сильной мускулистой грудью. Она безмятежно, чинно и неторопливо приближалась к нам, поравнялась с лодкой и здесь, среди тростников, задержалась и уютно расположилась на ночлег.

Джордж сказал, что ему не хочется чаю, и выплеснул содержимое своей чашки в реку. Гаррис тоже больше не чувствовал жажды и последовал его примеру. Я уже выпил с полчашки и горько раскаивался в этом.

Я спросил Джорджа, как он думает: не заболею ли я тифом?

Он сказал: «О нет!» Он считал, что надежды терять не следует, – может быть, и обойдется. Во всяком случае, через две недели станет ясно, заболел я или нет.

Мы подошли к Уоргрейву по каналу, который отходит от правого берега реки, полумилей выше Маршского шлюза; этот канал – прелестное тенистое местечко, и на нем стоит побывать. К тому же, он сокращает путь на добрых полмили.

Вход в него, конечно, прегражден сваями и цепями и окружен множеством надписей, угрожающих тюремным заключением, всевозможными пытками и смертной казнью каждому, кто отважится сунуть свое весло в эти воды. Остается лишь удивляться, как эти береговые

разбойники не наложили еще лапу на речной воздух и не взимают штраф в сорок шиллингов с каждого, кому придет в голову им подышать. К счастью, сваи и цепи, при известном умении, нетрудно обойти, а дощечки с надписями побросать в воду, если у вас найдется для этого пять минут свободного времени и поблизости никого не будет.

Пройдя половину канала, мы высадились и устроили ленч. За этим ленчем мы с Джорджем испытали страшное потрясение.

Гаррис был тоже потрясен, но я думаю, что потрясение Гарриса даже сравнить нельзя с потрясением, пережитым Джорджем и мною.

Случилось это, видите ли, следующим образом: мы только что удобно устроились на лужайке, ярдах в десяти от воды, и собирались позавтракать. Гаррис делил мясной пудинг, который он держал у себя на коленях, а мы с Джорджем в нетерпении держали наготове тарелки.

– Чем прикажете разливать соус? – сказал Гаррис. – Где у вас там ложка?

Корзина была позади нас; мы с Джорджем одновременно повернулись и стали открывать ее. Это не заняло и пяти секунд. Но, найдя ложку, мы обнаружили, что Гаррис и пудинг бесследно исчезли.

Мы сидели в чистом поле. На протяжении нескольких сот ярдов вокруг не было ни деревца, ни кустика. Гаррис не мог свалиться в реку: между ним и рекой находились мы, так что ему пришлось бы для этого перелезть через нас.

Мы с Джорджем озирались в полном недоумении. Затем мы уставились друг на друга.

– Может быть, ангелы взяли его живым на небо? – предположил я.

– Едва ли они захватили бы с собой пудинг, – возразил Джордж.

Возражение было не лишено оснований, и мы отвергли небесную теорию.

– По-моему, все очень просто, – объявил Джордж, спускаясь с заоблачных высот и переходя на почву повседневности и практицизма. – По-видимому, произошло землетрясение.

И он добавил, с оттенком страдания в голосе:

– Какая досада, что он как раз в это время делил пудинг!

С тяжким вздохом мы обратили взоры к тому месту, где Гаррис и пудинг окончили свое земное существование, и тут у нас кровь застыла в жилах и волосы поднялись дыбом, ибо мы вдруг увидели голову Гарриса, – одну только голову, без всего остального, торчавшую совершенно прямо среди высокой травы. Лицо Гарриса было багрово и выражало величайшее негодование.

Первым пришел в себя Джордж.

– Ответствуй! – заорал он. – Говори сейчас же, жив ты или умер и где прочие части твоего организма?

– Не валяй дурака! – ответила голова Гарриса. – Знаю я вас, сами все и подстроили.

– Что подстроили? – воскликнули мы с Джорджем.

– Сунули меня сюда, вот что! Глупейшая и нахальнейшая выходка! Держите пудинг!

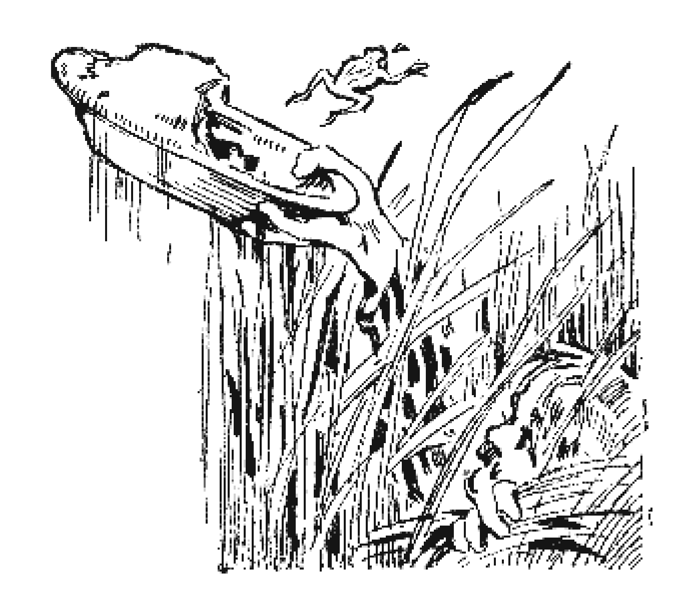
И тут прямо из-под земли, как нам показалось, вырос изуродованный, перепачканный пудинг, а вслед за ним выкарабкался и сам Гаррис, всклокоченный, грязный и мокрый.

Оказалось, что он сидел на самом краю канавы, скрывавшейся в густой траве, и, чуть подавшись назад, полетел вниз вместе с пудингом.

Он рассказывал потом, что никогда в жизни не был так ошарашен, ибо никак не мог понять, куда он летит, и вообще, что происходит. Сперва он решил, что наступило светопреставление.

Гаррис по сей день уверен, что все это подстроили мы с Джорджем. Увы! Несправедливые подозрения преследуют даже самых достойных. Ибо, как сказал поэт: «Кто избегнет клеветы?»

В самом деле – кто?



Глава XIV

Уоргрейв. – Кабинет восковых фигур. – Соннинг. – Наше рагу. – Монморанси насмехается. – Сражение Монморанси с чайником. – Джордж упражняется в игре на банджо. – Полное разочарование. – Печальный удел музыкантов-любителей. – Обучение игре на волынке. – Поужинав, Гаррис впадает в уныние. – Мы с Джорджем отправляемся на прогулку. – Возвращаемся голодные и промокшие. – Странности в поведении Гарриса. – Удивительная повесть о Гаррисе и лебедях. – Гаррис переживает тревожную ночь.

После завтрака мы воспользовались попутным ветерком, который легко пронес нас мимо Уоргрейва и Шиплейка. Уютно примостившийся в излучине реки, сладко дремлющий под лучами полуденного солнца Уоргрейв напоминает, когда проплываешь мимо, прелестную старинную картину, которая потом надолго запечатлевается на сетчатой оболочке памяти.

Уоргрейвская гостиница «Георгий и Дракон» гордится своей вывеской,[42] одну сторону которой написал член Королевской академии Лесли, а другую Ходжсон, один из его собратьев. Лесли изобразил битву с драконом; Ходжсон добавил сцену «После битвы»: Георгий Победоносец отдыхает после трудов праведных за кружкой пива.

Дэй, автор «Сэндфорда и Мертона», жил в Уоргрейве и – к вящей славе города – был там убит. В уоргрейвской церкви вам покажут мемориальную доску в честь миссис Сарры Хилл, завещавшей капитал, из которого надлежало ежегодно на пасху делить один фунт стерлингов между двумя мальчиками и двумя девочками, которые «никогда не выходили из повиновения родителям, никогда, насколько это известно, не бранились, не говорили неправды, не брали ничего без спросу и не разбивали стекол». Подумать только; лишиться таких удовольствий ради каких нибудь пяти шиллингов в год! Игра не стоит свеч!

Существует предание, что некогда, много лет назад, в городе появился мальчик, который действительно никогда ничего подобного не делал (или, если и делал, то так, что никто об этом не знал, а большего от него но требовали и не ожидали), и таким образом завоевал венец славы. После этого его посадили под стеклянный колпак и в течение трех недель показывали в городской ратуше.

Дальнейшая судьба денег никому не известна. Ходят слухи, что их ежегодно передают в ближайший кабинет восковых фигур.

Шиплейк – очаровательный городок, но с реки его не видно, так как он стоит на холме. В шиплейкской церкви сочетался браком Теннисон.

Дальше, до самого Соннинга, река усеяна множеством островов; здесь она спокойна, тиха и безлюдна. Лишь в сумерки немногочисленные парочки деревенских влюбленных бродят по ее берегам. Арри и лорд Фитцнудл[43] остались позади в Хенли, а до грязного угрюмого Рэдинга еще далеко. В этих местах хорошо мечтать об ушедших днях, об исчезнувших лицах и образах, о вещах, которые могли бы случиться и не случились, – чтоб им пусто было!

В Соннинге мы вылезли из лодки и пошли прогуляться по городку. Это самый волшебный уголок на Темзе. Он больше похож на декорацию, чем на настоящий город, выстроенный из кирпича и извести. Все его дома окружены розовыми кустами, и теперь, в начала июня, утопают в волнах восхитительного аромата. Если вам доведется попасть в Соннинг, загляните к «Быку», за церковью. Это настоящий деревенский старинный трактир с зеленым квадратным двориком перед фасадом, где в вечерние часы под деревьями собираются старики и обсуждают за кружкой эля деревенские новости. Вы найдете там удивительные комнаты с низкими потолками, ставни на окнах, извилистые переходы и на редкость неудобные лестницы.

Побродив часок по милому Соннингу, мы решили, что спешить в Рэдинг уже не стоит, а лучше вернуться для ночевки к какому-нибудь из Шиплейкских островков. Когда мы там устроились, было совсем рано, и Джордж сказал, что, так как до вечера еще далеко, нам представляется превосходный случай приготовить неслыханно роскошный ужин. Он сказал, что продемонстрирует нам высший класс речной кулинарии, и предложил состряпать из овощей, остатков холодной говядины и всяких завалящих кусочков – баранье рагу по-ирландски.

Мысль показалась нам гениальной. Джордж набрал хворосту и развел костер, а мы с Гаррисом принялись чистить картошку. Мне никогда и в голову не приходило, что чистка картошки – такое сложное предприятие. Это была грандиознейшая в своем роде задача, какая когда-либо выпадала на мою долю. Мы взялись за дело весело, можно даже сказать – с энтузиазмом, но бодрость духа совершенно покинула нас к тому времени, когда мы покончили с первой картофелиной. Чем больше мы чистили, тем больше шелухи на ней оставалось, когда же мы наконец счистили всю шелуху и вырезали все глазки, не осталось ничего от картофелины, – во всяком случае, ничего, заслуживающего упоминания. Джордж подошел и взглянул на нее: она была величиной с орешек. Джордж сказал:

– Нет, так ничего не выйдет! Вы только портите картошку. Картошку нужно скоблить.

Мы начали скоблить, но оказалось, что скоблить еще труднее, чем чистить. У них такие фантастические формы, у этих картофелин, – сплошные бугры, впадины и бородавки. Мы усердно трудились двадцать пять минут и отскоблили четыре штуки. Тут мы забастовали. Мы сказали, что остаток вечера у нас уйдет на то, чтобы отскоблить самих себя.

Я никак не думал, что скоблить картошку и валяться в грязи – это одно и то же. Трудно было поверить, что шелуха, покрывшая Гарриса и меня с ног до головы, происходит всего-навсего от четырех картофелин! Вот чего можно добиться с помощью экономии и усердия.

Джордж сказал, что класть в баранье рагу всего четыре картофелины просто нелепо, поэтому мы вымыли еще с полдесятка и сунули их в кастрюлю нечищеными. Мы добавили кочан капусты и фунтов десять гороха. Джордж все это перемешал и сказал, что остается еще пропасть места, и тогда мы обыскали обе корзины и высыпали в рагу все остатки, объедки и огрызки. У нас была еще половина мясного пудинга и кусок бекона; мы сунули их туда же. Потом Джордж нашел полбанки консервированной лососины и также бросил ее в кастрюлю.

Он сказал, что в этом и заключается преимущество ирландского рагу: можно избавиться от целой кучи ненужных вещей. Я выудил из корзины два треснувших яйца, и они тоже пошли в дело. Джордж сказал, что от яиц соус станет еще гуще.

Я уже позабыл остальные ингредиенты нашей стряпни; знаю только, что ничто не было упущено. Помню еще, как в конце этой процедуры Монморанси, который проявлял ко всему происходящему величайший интерес, куда-то удалился с серьезным и задумчивым видом, а через несколько минут притащил в зубах дохлую водяную крысу. По-видимому, он хотел внести и свою лепту в наше пиршество, но что это было – насмешка или искреннее желание помочь, – я сказать не могу.

Разгорелся спор о том, класть крысу в рагу или не класть. Гаррис сказал, что, по его мнению, следует положить, так как среди всего прочего сойдет и крыса. Однако Джордж указывал на отсутствие прецедента. Он говорил, что никогда не слышал, чтобы в рагу по-ирландски клали водяных крыс, и что он, как человек осторожный, не склонен к экспериментам.

Гаррис сказал:

– Если ты не будешь пробовать ничего нового, то как ты узнаешь, что хорошо и что плохо? Вот такие субъекты, как ты, и тормозят мировой прогресс. Вспомни-ка о человеке, который впервые попробовал немецкую сосиску!

Наше рагу по-ирландски удалось на славу! Никогда в жизни еда не доставляла мне такого наслаждения. В этом рагу было что-то необычайно свежее и даже пикантное. Старые, избитые кушанья всем нам уже приелись, а тут было блюдо с таким букетом и вкусом, каких больше нигде не встретишь!

К тому же, оно было питательно. Как выразился Джордж, тут было что пожевать! Правда, горох и картошка могли бы быть и помягче, но зубы у нас у всех хорошие, так что это было несущественно. Что же касается соуса, то он сам по себе был целой поэмой – быть может, для слабых желудков несколько тяжеловатой, но зато содержательной.

В заключение мы пили чай с вишневым пирогом. Тем временем Монморанси открыл военные действия против чайника и был разбит наголову.

В течение всего путешествия он проявлял к чайнику живейший интерес. Он часто сидел и с великим удивлением наблюдал, как тот кипит, а временами рычал, стараясь его раздразнить. Когда же чайник начинал шипеть и плеваться, Монморанси усматривал в этом вызов и готовился броситься на врага, но всякий раз кто-нибудь вмешивался и уносил добычу раньше, чем он успевал до нее добраться.

Сегодня он решил нас опередить. Едва чайник начал шипеть, как Монморанси зарычал, вскочил и направился к нему с угрожающим видом. Чайник был совсем маленький, но полный отваги, и в ответ плюнул на него.



«Ах, так! – прорычал Монморанси, оскалив зубы. – Я тебе покажу, как оскорблять почтенного трудолюбивого пса! Ты просто жалкий, длинноносый, подлый негодяй! Вот я тебя!»

И он бросился на бедный маленький чайник и схватил его за носик.

Вслед за этим в вечерней тишине раздался душераздирающий вопль. Монморанси выскочил из лодки и предпринял прогулку для успокоения нервов. Он трижды обежал весь остров, делая в среднем по тридцати пяти миль в час и время от времени останавливаясь, чтобы зарыть нос в холодную грязь.

После этого Монморанси стал относиться к чайнику с ужасом, подозрением и ненавистью. Едва завидев чайник, он поджимал хвост и рыча стремительно пятился назад, а когда чайник ставили на спиртовку, Монморанси выскакивал из лодки и отсиживался на берегу до окончания чаепития.

Поужинав, Джордж вытащил банджо и собрался было поиграть, но Гаррис запротестовал; он сказал, что у него разболелась голова и подобное испытание ему не под силу. Джордж полагал, что музыка, напротив, будет полезна, поскольку она вообще успокаивает нервы и излечивает головную боль. Для примера он даже взял несколько аккордов.

Гаррис сказал, что предпочитает головную боль.

Джордж так и не выучился играть на банджо. Слишком уж много разочарований встретилось на его пути. Во время нашего путешествия он пробовал иногда упражняться по вечерам, но неизменно терпел фиаско: Гаррис комментировал его игру в выражениях, которые могли бы обескуражить кого угодно. Вдобавок Монморанси всякий раз усаживался рядом и сопровождал исполнение заунывным воем. Какая уж тут игра, в таких условиях!

– Какого черта он так воет, когда я играю? – возмущался Джордж, запуская в него башмаком.

– А какого черта ты так играешь, когда он воет? – возражал Гаррис, подхватывая башмак. – Оставь его в покое. Как ему не выть! У него музыкальный слух, а от твоей игры поневоле завоешь!

Тогда Джордж решил отложить свои музыкальные занятия до возвращения домой. Но и тут ему не повезло. Миссис Попитс неизменно являлась к нему и говорила, что ей очень жаль, – потому что лично она любит слушать Джорджа,

– но наверху живет леди, и она в интересном положении, и доктор опасается гибельных последствий для ребенка.

После этого Джордж попытался практиковаться по ночам в сквере неподалеку. Но соседи пожаловались в полицию, и за Джорджем была установлена слежка, и однажды ночью его

сцапали. Улики были неопровержимы, и его приговорили к шестимесячному воздержанию от музыкальных занятий.

В результате у Джорджа совсем опустились руки. Правда, по истечении положенных шести месяцев он сделал несколько слабых попыток возобновить свои занятия, но встретил все ту же холодность и равнодушие со стороны света. Он отказался от борьбы, совершенно отчаялся, вывесил объявление о продаже инструмента за полцены «ввиду ненадобности» и стал практиковаться в искусстве показывать карточные фокусы.

Сколько нужно самоотверженности, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте! Казалось бы, обществу, для его же пользы, следует помогать человеку, изучающему игру на каких-либо инструментах. Так нет же!

Я знавал молодого человека, который увлекался игрой на волынке. Вы были бы потрясены, узнав, какое сопротивление ему приходилось преодолевать. Даже его собственная семья не оказала ему, если можно так выразиться, активной поддержки. Его отец с самого начала был решительно против этой затеи и проявил полное бессердечие.

Сперва мой приятель пытался упражняться по утрам, но вскоре ему пришлось от этого отказаться из-за сестры. Она была набожна и почитала за величайший грех начинать утро таким способом.

Тогда он стал играть по ночам, когда вся семья ложилась спать, но из этого тоже ничего не вышло, так как их дом приобрел дурную славу. Запоздалые прохожие останавливались под окнами, слушали и на следующее утро оповещали весь город о том, что прошлой ночью в доме мистера Джефферсона было совершено зверское убийство; они описывали вопли несчастного, грубые проклятия и ругательства убийцы, мольбы о пощаде и последний предсмертный хрип жертвы.

После этого моему приятелю разрешили упражняться днем на кухне при плотно закрытых дверях. Однако, несмотря на такие предосторожности, наиболее удачные пассажи все же долетали до гостиной и доводили его мать до слез.

Она говорила, что при этих звуках вспоминает своего бедного покойного отца (бедняга был проглочен акулой во время купанья у берегов Новой Гвинеи, – что общего между акулой и волынкой, она не могла объяснить).

Тогда моему приятелю отвели сарайчик в конце сада за четверть мили от дома и заставили его таскать туда волынку всякий раз, как он брался за свои упражнения. Но случалось, что ничего не подозревавший гость, которого забыли посвятить в это дело и заранее предостеречь, выходил на прогулку в сад без всякой подготовки, и внезапно до его слуха доносились звуки волынки. Если это был человек сильный духом – дело ограничивалось обмороком, но люди с заурядным интеллектом, как правило, сходили с ума.

Нельзя не признать, что первые шаги любителя игры на волынке мучительны до крайности. Я понял это, когда услышал игру моего юного друга. По-видимому, волынка необычайно трудный инструмент. С самого начала приходится запасаться воздухом на всю мелодию сразу, – во всяком случае, наблюдая за Джефферсоном, я пришел к такому заключению.

Начинал он блистательно: душераздирающей, воинственной нотой, от которой слушатель вскакивал, как ошпаренный. Но вскоре музыкант переходил на пиано, потом на пианиссимо, а последние такты мелодии уже тонули в сплошном бульканий и шипении.

Завидное нужно здоровье, чтобы играть на волынке!

Юный Джефферсон сумел выучить только одну мелодию, но я никогда и ни от кого не слышал жалоб на бедность его репертуара – боже упаси! Это была, по его словам, мелодия: «То Кембеллы идут, ура, ура!» – хотя его отец уверял, что это «Колокольчики

Шотландии».[44] Что это было в действительности, никто не знал, но все соглашались, что в мелодии есть нечто шотландское.

Гостям разрешалось отгадывать трижды, но почему-то они всегда попадали пальцем в небо…

После ужина Гаррис стал невыносим; видимо, рагу повредило ему, – он не привык к роскошной жизни. Поэтому мы с Джорджем решили оставить его в лодке и побродить по Хенли. Гаррис сказал, что выпьет стакан виски, выкурит трубку и приготовит все для ночлега. Мы условились, что покричим, когда вернемся, а он подведет лодку к берегу и заберет нас.

– Только не вздумай уснуть, старина, – сказали мы на прощанье.

– Можете не волноваться: пока это рагу во мне, я не усну, – буркнул он, направляя лодку к острову.

В Хенли царило оживление: шла подготовка к гребным гонкам. Мы встретили кучу знакомых, и в их приятном обществе время пролетело незаметно… Только в одиннадцать часов мы собрались в обратный путь. Нам предстояло пройти четыре мили до «дома», – так к этому времени мы стали называть наше суденышко.

Стояла унылая холодная ночь, моросил дождь, и пока мы тащились по темным, молчаливым полям, тихонько переговариваясь и совещаясь, не заблудились ли мы, воображение рисовало нам уютную лодочку и яркий свет, пробивающийся сквозь плотно натянутый брезент, и Гарриса, и Монморанси, и виски, и нам ужасно хотелось дойти поскорее.

Нам представлялось, как мы влезаем внутрь, усталые и проголодавшиеся, и как наша удобная, теплая, приветливая лодка, подобно гигантскому светляку, сверкает на угрюмой реке под скрытыми во мраке деревьями. Мы видели себя за ужином, поглощающими холодное мясо и передающими друг другу ломти хлеба, мы слышали бодрое звяканье ножей и веселые голоса, которые, заполнив наше жилище, вырываются наружу, в ночную тьму. И нам не терпелось превратить эти видения в действительность.

Наконец мы выбрались на бечевник. Мы были совершенно счастливы, потому что до того не представляли себе, идем мы к реке или от реки, а когда человек голоден и хочет спать, такая неуверенность ему как нож в сердце. Пробило четверть двенадцатого, когда мы миновали Шиплейк, и тут Джордж задумчиво спросил:

– Кстати, ты случайно не помнишь, что это был за остров?

– Н-нет, – ответил я, также впадая в задумчивость, – не помню. А сколько их было вообще?

– Только четыре, – утешил меня Джордж. – Если Гаррис не уснул, все будет в порядке.

– А если уснул? – ужаснулся я. Впрочем, мы тут же отвергли это недостойное предположение.

Поравнявшись с первым островом, мы закричали, но ответа не последовало; тогда мы пошли ко второму и повторили попытку с тем же результатом.

– Ох, я вспомнил! – воскликнул Джордж. – Наша стоянка – у третьего острова.

Мы преисполнились надежды, помчались к третьему острову и заорали.

Никакого ответа!

Дело принимало серьезный оборот. Было уже далеко за полночь. Гостиницы в Шиплейке и Хенли переполнены, а ломиться среди ночи в дома и коттеджи с вопросом, не сдадут ли нам комнату, было бы нелепо, Джордж выдвинул предложение вернуться в Хенли, поколотить полисмена и заручиться, таким образом, местами в каталажке. Но тут возникло сомнение: «А если он не захочет забрать нас и просто даст сдачи?» Не могли же мы всю ночь воевать с полисменами? Кроме того, тут была опасность пересолить и сесть за решетку месяцев на шесть.

В полном отчаянии мы побрели сквозь мрак туда, где, как нам казалось, находится четвертый остров. Но все было бесполезно. Дождь полил сильнее и, видимо, не собирался перестать. Мы вымокли до костей, продрогли и пали духом. Мы начали гадать, было ли там всего четыре острова или больше и вышли ли мы действительно к этим островам или куда-нибудь за целую милю от них, или, наконец, вообще забрели невесть куда? В темноте все выглядит так странно и непривычно! Мы начали понимать ужас маленьких детей, покинутых в лесу.[45]

И вот, когда мы уже потеряли всякую надежду… да, я знаю, что во всех романах и повестях самые захватывающие события совершаются именно в этот момент, но у меня нет другого выхода. Начиная писать эту книгу, я решил строго придерживаться истины, и я намерен не отступать от этого правила, даже если некоторые выражения покажутся избитыми.

Итак, я вынужден сказать, что это случилось в тот момент, когда мы потеряли всякую надежду. Как раз когда мы потеряли всякую надежду, я внезапно заметил странный, таинственный свет, мерцавший откуда-то снизу, сквозь деревья на противоположном берегу. Свет был такой слабый и призрачный, что сперва я подумал о привидениях. Но уже в следующий миг меня осенила мысль, что это наша лодка, и я заорал так, что сама ночь, вероятно, вздрогнула на своем ложе.

С минуту мы подождали, затаив дыхание, и вот – о, божественная музыка во мраке! – до нас донесся ответный лай Монморанси. Мы подняли дикий рев, от которого проснулся бы и мертвый (кстати, я никогда не мог понять, почему люди не употребляют этот способ для оживления утопленников), и через час, как нам показалось, а на самом деле минут через пять, мы увидели освещенную лодку, медленно плывущую к нам, и услышали сонный голос Гарриса, спрашивающий, где мы.

В поведении Гарриса было что-то неуловимо странное, что-то непохожее на обыкновенную усталость. Он подвел лодку к берегу в таком месте, где мы никак не могли до нее добраться, и тут же уснул. Потребовалась чудовищная порция воплей и проклятий, чтобы снова разбудить его и вправить ему мозги. Однако в конце концов нам это удалось и мы благополучно взобрались на борт.

Вид у Гарриса был совершенно убитый, – это бросилось нам в глаза, как только мы очутились в лодке. Он производил впечатление человека, который пережил тяжкое потрясение. Мы спросили у него, что случилось.

Он сказал: «Лебеди!»



По-видимому, мы устроили свою стоянку вблизи гнезда лебедей; вскоре после того, как мы с Джорджем отправились в Хенли, самка вернулась и подняла страшный шум. Гаррис прогнал ее, и она удалилась, но потом вернулась вместе со своим муженьком. Гаррис сказал, что ему пришлось выдержать форменное сражение с этой четой, но в конце концов мужество и искусство одержали победу и лебеди были разбиты в пух и прах.

Через полчаса они вернулись и привели с собой еще восемнадцать лебедей. Насколько можно было понять из рассказа Гарриса, это было настоящее побоище. Лебеди пытались вытащить его и Монморанси из лодки и утопить, он сражался как лев целых четыре часа, и убил великое множество, и все они куда-то отправились умирать.

– Сколько, ты сказал, было лебедей?

– Тридцать два, – сонно ответил Гаррис.

– Ты ведь только что сказал – восемнадцать? – удивился Джордж.

– Ничего подобного, – проворчал Гаррис, – я сказал двенадцать. Что я, считать не умею?

Мы так никогда и не выяснили эту историю с лебедями. Когда наутро мы стали расспрашивать Гарриса, он сказал: «Какие лебеди?» – и, видимо, решил, что нам с Джорджем все это приснилось.

Ах, как восхитительно было снова очутиться в нашей надежной лодке после всех пережитых ужасов и треволнений! Мы с аппетитом поужинали – Джордж и я

– и были не прочь выпить пунша, только для пунша нужно виски, а найти его нам не удалось. Мы допытывались у Гарриса, что он с ним сделал, но Гаррис вдруг перестал понимать, что такое виски и вообще о чем идет речь. Монморанси же явно понимал, в чем дело, но хранил молчание.

Я хорошо спал в эту ночь и мог бы спать еще лучше, если бы не Гаррис. Смутно припоминаю, что раз десять просыпался ночью, так как Гаррис путешествовал по лодке с фонарем в руке, разыскивая принадлежности своего туалета. По-видимому, он провел всю ночь в тревоге за их сохранность.

Дважды он будил нас с Джорджем, чтобы выяснить, не лежим ли мы на его штанах. Во второй раз Джордж совершенно взбесился.

– На кой черт тебе среди ночи понадобились штаны? – возмущался он. – Почему ты не ложишься спать?

Когда я проснулся в следующий раз, Гаррис оплакивал пропажу своих носков. У меня сохранилось еще неясное воспоминание о том, как Гаррис ворочал меня с боку на бок, бормоча что-то о своем зонтике, который совершенно непостижимым образом запропастился неведомо куда.

Глава XV

Хозяйственные хлопоты. – Я люблю работать. – Ветеран весла; как он работает руками и как работает языком. – Скептицизм молодого поколения. – Воспоминания о первых шагах в гребном спорте. – Катанье на плотах. – Джордж демонстрирует образец стиля. – Старый лодочник и его повадки. – Так спокойно, так умиротворенно! – Новичок. – Плоскодонка. – Прискорбное происшествие. – Радости дружбы. – Мой первый опыт плавания под парусом. – Почему мы не утонули.



На следующее утро мы проснулись поздно и по настоянию Гарриса позавтракали скромно, «без излишеств». После этого мы вымыли посуду, все прибрали (нескончаемое занятие, которое внесло некоторую ясность в нередко занимавший меня вопрос: куда девает время женщина, не имеющая других дел, кроме своего домашнего хозяйства) и часам к десяти были полны решимости начать длинный трудовой день.

Для разнообразия мы постановили не тянуть в это утро лодку бечевой, а идти на веслах; при этом Гаррис считал, что наилучшее распределение сил получится, если я и Джордж возьмемся за весла, а он сядет у руля. Я был в корне не согласен с таким предложением; я сказал, что, по-моему, Гаррис проявил бы куда больше здравого смысла, если б выразил желание поработать вместе с Джорджем, а мне дал передышку. Мне казалось, что в этом путешествии львиная доля всей работы падает на меня. Такое положение меня не устраивало.

Мне всегда кажется, что я работаю больше чем следует. Это не значит, что я отлыниваю от работы, боже упаси! Работа мне нравится. Она меня зачаровывает. Я способен сидеть и смотреть на нее часами. Я люблю копить ее у себя: мысль о том, что с ней придется когда-нибудь разделаться, надрывает мне душу.

Перегрузить меня работой невозможно: набирать ее стало моей страстью. Мой кабинет так набит работой, что в нем не осталось ни дюйма свободного места. Придется пристроить к дому новое крыло.

К тому же, я обращаюсь со своей работой очень бережно. В самом деле: иная работа лежит у меня годами, а я даже пальцем ее не тронул. И я горжусь своей работой; то и дело я перекладываю ее с места на место и стираю с нее пыль. Нет человека, у которого работа была бы в большей сохранности, чем у меня.

Но хотя я и пылаю страстью к работе, справедливость мне еще дороже. Я не прошу больше, чем мне причитается.

А она валится на меня, хоть я и не прошу, – так по крайней мере мне кажется, – и это меня убивает.

Джордж говорит, что на моем месте он не стал бы из-за этого расстраиваться. Он полагает, что только чрезмерная щепетильность моей натуры заставляет меня бояться получить лишнее, тогда как на самом деле я не получаю и половины того, что следует. Но, боюсь, он так говорит, только чтобы меня утешить.

По моим наблюдениям, любой член любой лодочной команды обязательно страдает навязчивой идеей, что он трудится за всех.

Гаррис был убежден, что работает он один, а мы с Джорджем на нем выезжаем. Джордж, со своей стороны, считал смехотворной самую мысль о том, будто Гаррис способен к какой-либо деятельности (если не считать еды и сна), и пребывал в несокрушимой уверенности, что всю стоящую упоминания работу выполняет именно он, Джордж.

Он сказал, что ему еще никогда не приходилось путешествовать в обществе таких отъявленных бездельников, как я и Гаррис.

Гарриса это позабавило.

– Подумать только, старина Джордж рассуждает о работе! – рассмеялся он.

– Да ведь полчаса работы доконают его! Видел ли ты Джорджа хоть раз за работой? – обратился он ко мне.

Я подтвердил, что ни разу, – во всяком случае, с той минуты, как мы сели в лодку.

– Будь я проклят, если я понимаю, откуда у тебя такие сведения! – накинулся Джордж на Гарриса. – Ведь ты почти все время спишь… Видел ли ты хоть раз Гарриса вполне проснувшимся, – если не считать тех случаев, когда он ест? – спросил меня Джордж.

Любовь к истине заставила меня поддержать Джорджа. В лодке от Гарриса с самого начала было очень мало проку.

– Ну, уж если на то пошло, так я потрудился больше, чем старина Джей, – огрызнулся Гаррис.

– Потому что меньше невозможно, как ни старайся, – добавил Джордж.

– По-видимому, Джей считает себя пассажиром, – продолжал Гаррис.

Такова была их благодарность за то, что я тащил их и эту несчастную старую посудину от самого Кингстона, и за всем присматривал, и все устраивал, и заботился о них, и расшибался для них в лепешку. Так устроен мир!

В конце концов нам удалось поладить на том, что Джордж и Гаррис будут грести до Рэдинга, а дальше я потяну лодку бечевой. Выгребать на тяжелой лодке против быстрого

течения кажется мне весьма сомнительным удовольствием. Давно прошли те времена, когда я выискивал себе работу потяжелее; теперь я считаю своим долгом дать дорогу молодежи.

Я заметил, что почти все умудренные опытом «старички»-гребцы моментально стушевываются, едва лишь возникает необходимость приналечь на весла. Вы всегда узнаете такого «старичка» по тому, как он располагается на дне лодки, обложившись подушками, и ободряет гребцов рассказами о потрясающих подвигах, которые он совершил прошлым летом.

«И это вы называете работать веслами? – тянет он в нос, блаженно выпуская колечки дыма и обращаясь к двум взмокшим новичкам, которые добрых полтора часа усердно гребут против течения. – Вот прошлым летом мы с Джимом Бифлзом и Джеком гребли полдня без единой передышки и поднялись от Марло до самого Горинга. Помнишь, Джек?»

Джек, который устроил на носу постель из всех имевшихся в наличии пиджаков и пледов и вот уже два часа спит как убитый, открывает при этом обращении один глаз и, тут же все припомнив, добавляет, что всю дорогу приходилось грести против сильного ветра и необычайно быстрого течения.

«По-моему, мы прошли тогда добрых тридцать четыре мили», – продолжает рассказчик, подкладывая себе под голову еще одну подушку.

«Ну, ну, Том, не преувеличивай, – укоризненно бормочет Джек. – От силы тридцать три».

После чего Джек и Том, истощив свою энергию в этой изнурительной беседе, снова погружаются в сон, а два простодушных молокососа, страшно гордые тем, что им выпала честь везти таких замечательных чемпионов, как Джек и Том, еще усерднее наваливаются на весла.

Когда я был молод, я не раз слышал такие истории от старших; я разжевывал их, и проглатывал, и переваривал каждое слово, и еще просил добавки. Однако новое поколение, по-видимому, утратило бескорыстную веру прежних времен. Как-то прошлым летом мы – Джордж, Гаррис и я – взяли с собой новичка и насели на него с обычными небылицами о чудесах, которые мы совершали, поднимаясь вверх по реке.

Мы преподнесли ему все положенные, обросшие бородой басни, которые с незапамятных времен верой и правдой служат всем «старичкам», и в дополнение сочинили семь совершенно оригинальных историй. Одна из них была вполне правдоподобной и основана, до некоторой степени, на подлинном происшествии, которое в самом деле случилось, хотя и в несколько ином виде, с нашими приятелями лет пять тому назад. Любой двухлетний младенец проглотил бы этот рассказ, не поморщившись. Почти не поморщившись.

А этот новичок только потешался над нами, требовал, чтобы мы тут же продемонстрировали свою удаль, и ставил десять против одного, что ничего у нас не выйдет.

Покончив с распределением обязанностей, мы пустились в воспоминания о наших спортивных похождениях, и каждый припомнил свои первые шаги в гребном спорте. Я лично познакомился с лодкой на озере в Риджентс-парке, где мы, впятером, собрали по три пенса с каждого, наняли посудину удивительной конструкции, а потом обсыхали в сторожке смотрителя.

После этого меня стало тянуть к воде, и я немало поплавал на плотах, которые сам же и сколачивал возле пригородных лесопильных заводов, – развлечение, сопряженное с массой увлекательных и волнующих переживаний, особенно когда вы находитесь на середине пруда, а владелец досок, из которых вы соорудили плот, внезапно появляется на берегу, размахивая здоровенной палкой.

При виде этого джентльмена вы сразу же начинаете ощущать полное отсутствие склонности к дружеской беседе и непреодолимое стремление избежать встречи с ним, не показавшись, однако, невежливым. Вам нужно только одно: выбраться на берег по ту сторону пруда, чтобы тихо и мирно убраться восвояси, притворяясь, будто вы его не заметили. Он же, наоборот, горит желанием схватить вас за руку и потолковать с вами.

Оказывается, он знаком с вашим отцом и хорошо знает вас самих; но и это не побуждает вас к сближению с ним.

Он говорит, что покажет вам, как таскать у него доски и сколачивать из них плоты. Но, поскольку вы и без него отлично знаете, как это делается, его весьма любезное предложение кажется вам несколько запоздалым, так что вы предпочитаете никого не затруднять и ретироваться.

Невзирая на вашу холодность, он настойчиво продолжает искать встречи и метаться по берегу пруда, чтобы вовремя поспеть к месту вашей высадки и приветствовать вас, а энергия, которую он при этом проявляет, кажется вам весьма лестной.

Если он толст и страдает одышкой, вам будет нетрудно отклонить его авансы; но если он человек молодой и длинноногий, – свидание неизбежно. Впрочем, беседа отнюдь не затягивается, так как ведущая роль в ней принадлежит ему, а ваши реплики носят по большей части восклицательный и односложный характер, и вы стараетесь вырваться из его рук при первой возможности.

Посвятив около трех месяцев плаванию на плотах и досконально изучив эту область искусства, я решил перейти к настоящей гребле и вступил в один из лодочных клубов на реке Ли.

Катаясь по реке Ли, особенно в субботние вечера, вы скоро приучаетесь ловко орудовать веслами и увертываться от волн, поднимаемых буксирами, и от озорников, норовящих пустить вас ко дну. Кроме того, перед вами открывается блестящая перспектива овладеть искусством быстро и изящно распластываться на дне лодки, чтобы чья-нибудь бечева не смахнула вас в воду.

Но стиля вы так не выработаете. Стиль я приобрел только на Темзе. Теперь все им восхищаются. Говорят, у меня прямо невиданный стиль.

Джордж до шестнадцати лет близко не подходил к реке. И вот однажды, в субботу, он и еще восемь джентльменов, его сверстников, явились всей компанией в Кью с твердым намерением нанять лодку и пройти на веслах до Ричмонда и обратно. Один из них, лохматый юнец по имени Джоскинз, раза два катался в лодке по Серпентайну и уверял, что это здорово весело – кататься в лодке.

Когда они добрались до лодочной станции, течение было очень быстрое и дул сильный боковой ветер, но их это нисколько не смутило, и они приступили к выбору лодки.

На пристани лежала гоночная восьмерка; она сразу пленила их воображение. Они спросили, нельзя ли получить эту лодку. Лодочника не было, и его заменял мальчик. Мальчик попытался охладить их влечение к восьмерке и показал им несколько премиленьких лодок для семейных прогулок, но это было совсем не то. Они считали, что в восьмерке будут выглядеть куда шикарнее.

Тогда мальчик спустил восьмерку на воду, а они сняли пиджаки и приготовились занять места. Мальчик посоветовал им посадить четвертым номером Джорджа, который уже тогда был чемпионом-тяжеловесом в любой компании. Джордж сказал, что он будет счастлив сесть четвертым номером, и быстренько уселся на носовую скамью, спиной к корме. Кое-как им удалось водворить его на место, и тогда расселись остальные.

Какого-то особенно слабонервного юнца определили в рулевые, и Джоскинз преподал ему основные принципы управления лодкой. Сам Джоскинз сел загребным. Остальным он сказал, что робеть нечего: пусть они просто повторяют в точности все, что будет делать он сам. Они объявили, что готовы, и тогда мальчик взял багор и оттолкнул лодку.

Джордж не мог подробно описать развернувшиеся вслед за этим события. У него сохранилось лишь смутное воспоминание о том, что едва они отошли от пристани, как рукоять весла номера пятого въехала ему в поясницу, и в тот же миг из-под него мистическим образом

выкатилась скамейка и он шлепнулся на дно. Он также отметил следующее любопытное обстоятельство: номер второй в это время лежал на спине, задрав кверху обе ноги: по-видимому, с ним случился какой-то припадок.

Под кьюзским мостом лодка прошла боком, со скоростью восьми миль в час, имея на борту единственного гребца в лице Джоскинза. Потом Джордж снова взобрался на свою скамью и попытался помочь Джоскинзу, но не успел опустить весло в воду, как оно, к его величайшему удивлению, ушло под лодку и едва не утащило его за собой.

Тем временем рулевой бросил за борт оба рулевых шнурка и разразился слезами.

– Каким образом им удалось вернуться к пристани, Джордж так и не выяснил; он помнил только, что на это потребовалось сорок минут. С моста большая толпа самозабвенно любовалась увлекательным зрелищем; все выкрикивали самые противоречивые указания. Три раза лодку удавалось вывести из-под арки, и три раза ее затягивало обратно, и стоило рулевому увидеть мост у себя над головой, как он снова начинал неудержимо рыдать.

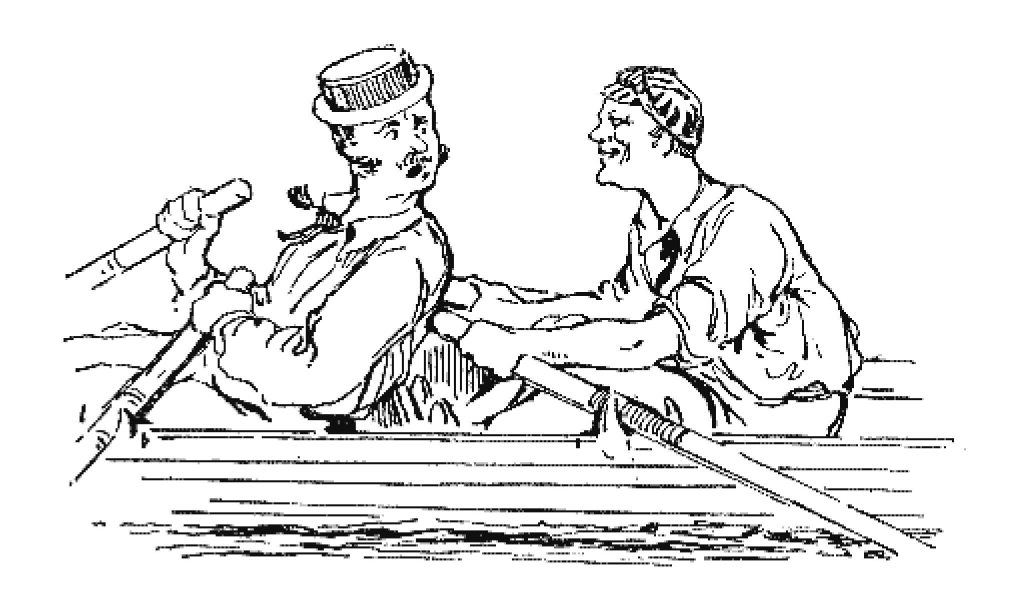
По словам Джорджа, он сильно сомневался в тот день, что когда-нибудь полюбит гребной спорт.

Гаррис больше привык кататься по морю, чем по реке; он твердит, что предпочитает гребной спорт на море. Я – нет. Помнится, прошлым летом, в Истборне, я нанял маленькую лодочку: когда-то я немало упражнялся в гребле на море и поэтому считал, что не ударю лицом в грязь. Оказалось, однако, что я начисто разучился грести. Стоило одному веслу погрузиться в воду, как другое описывало какую-то фантастическую кривую и выскакивало на поверхность. Грести обоими веслами я мог только стоя. На набережной собралось изысканное светское общество, и мне предстояло продефилировать перед ним в этой нелепой позе. На середине пути я не выдержал, пристал к берегу и заручился услугами старого лодочника, который доставил меня обратно.

До чего приятно следить, как гребет старый лодочник, – особенно если он нанят по часам. Какое восхитительное спокойствие, какая умиротворенность в каждом его движении! Ни малейшего намека на суетливую поспешность, на лихорадочное стремление вперед, которое становится сущим проклятием девятнадцатого века. Старый лодочник никогда не утруждает себя попытками обогнать другие лодки. Он нисколько не тревожится, когда какая-нибудь из них обгоняет его, – собственно говоря, они все его обгоняют, если только плывут в ту же сторону. Есть люди, которых это раздражает и выводит из себя; великолепная невозмутимость наемного лодочника во время этого испытания может послужить нам прекрасным уроком и предостережением против честолюбия и гордыни.

Научиться обыкновенной, непритязательной гребле, основанной на принципе «тише едешь – дальше будешь», не так уж трудно. Но, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, когда проплываешь мимо девушек, требуется изрядная сноровка. Кроме того, новичкам никак не удается попадать в такт. «Странная вещь, – жалуется начинающий, в двадцатый раз на протяжении пяти минут выпутывая свои весла из ваших, – я отлично справляюсь, когда я один!»

Наблюдать двух новичков, пытающихся попасть друг другу в такт, забавно до чрезвычайности. Второй номер считает, что загребной машет веслами самым нелепым образом и попасть ему в такт нет никакой возможности. Загребной безумно возмущен этим заявлением и объясняет, что вот уже десять минут, как он пытается приспособить свой стиль к жалким способностям номера второго. Второй номер, в свою очередь, обижается и советует загребному не утруждать себя заботами о нем (втором номере), а сосредоточить умственные усилия на том, чтобы сколько-нибудь разумно действовать веслами.



«А может, мне сесть загребным?» – добавляет он, считая, по-видимому, что это будет радикальным решением вопроса.

Следующую сотню ярдов они продолжают барахтаться с переменным успехом, после чего загребной в порыве вдохновения вдруг постигает тайну их неудач.

«Теперь я знаю, в чем дело! – кричит он второму номеру. – У тебя мои весла! Давай-ка их сюда!»

«В самом деле! А я-то ломаю себе голову, почему мне с ними никак не управиться! – отвечает второй, просияв и тотчас же приступая к обмену. – Теперь дело пойдет на лад».

Но оно не идет на лад, – и тут не идет! Загребному, чтобы достать до весел, приходится так вытягивать руки, что они вот-вот выскочат из суставов; в то же время второй номер при каждом взмахе наносит себе сокрушительный удар в грудь. Тогда они снова обмениваются веслами и приходят к выводу, что лодочник всучил им никуда не годные весла. И объединив свои проклятия по его адресу, они вновь приходят к дружескому взаимопониманию.

Джордж заметил, что ему часто хотелось для разнообразия поплавать на плоскодонке.[46] Это не так легко, как кажется. Научиться двигаться по плоскодонке и владеть шестом не труднее, чем научиться грести, но чтобы проделывать это, не теряя достоинства и не зачерпывая воду рукавами, требуется длительная практика.

С одним молодым человеком, моим знакомым, произошел весьма прискорбный случай во время первого же катания на плоскодонке. С самого начала дело пошло у него так хорошо, что он совсем осмелел и стал расхаживать по лодке взад и вперед с непринужденной и прямо-таки пленительной грацией. Он выходил на нос, опускал в воду шест и затем бежал на корму совсем как заправский лодочник. Он выглядел просто шикарно!

Не менее шикарно он выглядел бы и дальше, но, к несчастью, оглянувшись, чтобы полюбоваться пейзажем, он сделал одним шагом больше, чем следовало, и перемахнул через борт. Он повис на шесте, который прочно засел в иле, а лодка преспокойно продолжала плыть по течению. Нельзя сказать, чтобы его поза дышала достоинством. Невоспитанный мальчишка на берегу сейчас же крикнул своему отставшему товарищу: «Беги сюда, тут сидит настоящая обезьяна на шесте».



Я не мог прийти на выручку своему приятелю, так как мы, к великому сожалению, не позаботились захватить с собой запасной шест. Я мог только сидеть и смотреть на беднягу. Его лицо, когда он вместе с шестом плавно опускался в воду, никогда не изгладится из моей памяти, – это было лицо настоящего мыслителя.

Я следил, как он погружался в воду, и видел, как он, грустный и мокрый, карабкался на берег. Он представлял собой такую забавную фигуру, что я не мог удержаться от смеха. Я еще немного похихикал про себя, а потом мне пришло в голову, что если хорошенько подумать, то смеяться, в общем, не над чем. Я сидел в лодке один, без шеста, и беспомощно плыл по течению, – быть может, прямехонько на плотину.

Тут я страшно рассердился на своего спутника за то, что ему вздумалось шагнуть через борт и покинуть меня на произвол судьбы. Хоть бы шест мне оставил!

С четверть мили меня несло течением, а потом я увидел рыбачий баркас, стоявший на якоре посередине реки, и в нем двух пожилых рыбаков. Они заметили, что я плыву прямо на них, и крикнули, чтобы я свернул в сторону.

«Не могу!» – заорал я в ответ.

«Да ведь вы и не пытаетесь», – возразили они.

Когда расстояние между нами уменьшилось, я им все объяснил, и они поймали мою лодку, и одолжили мне шест. До плотины оставалось всего с полсотни ярдов. Эта встреча была очень кстати.

Первое свое плавание на плоскодонке я решил предпринять в компании с тремя приятелями: предполагалось, что они научат меня обращаться с шестом. Мы не могли отправиться все вместе, поэтому я сказал, что пойду на пристань первым, найму лодку, немного покручусь у берега и попрактикуюсь до их прихода.

Плоскодонки я в тот день не достал, потому что все они уже были разобраны; мне оставалось только сидеть на берегу, любоваться рекой и ждать своих друзей.

Просидев так некоторое время, я обратил внимание на человека, катавшегося на плоскодонке; я с некоторым удивлением заметил, что на нем точно такие же куртка и шапочка, как на мне. Он явно был новичком и вел себя прелюбопытнейшим образом. Не было никакой возможности угадать, что случится с лодкой после того, как он в следующий раз воткнет шест; по-видимому, он и сам этого не знал. Он толкал лодку то по точению, то против течения, а порой она у него вдруг начинала вертеться на месте вокруг шеста. И всякий раз он казался крайне удивленным и раздосадованным результатом своих трудов.

Вскоре он стал центром всеобщего внимания, и собравшиеся зрители начали биться об заклад, высказывая разнообразные предположения о том, что случится с плоскодонкой при следующем толчке.

Тем временем на противоположном берегу появились мои друзья; они остановились и тоже начали наблюдать за этим человеком. Он стоял к ним спиной, и они видели только его куртку и шапочку.

Конечно, они сейчас же вообразили, что герой этого спектакля – я, их возлюбленный приятель, и восторгу их не было пределов. Они начали безжалостно издеваться над беднягой.

Я сперва не понял их ошибки и подумал: «Как это некрасиво с их стороны вести себя подобным образом, да еще по отношению к постороннему человеку». Я уже собирался окликнуть их и урезонить, но вдруг сообразил, в чем дело, и спрятался за дерево.

Ах, как они веселились, как дразнили бедного юношу! Добрых пять минут они пялили на него глаза, глумились над ним, поносили его, вышучивали и издевались. Они осыпали его допотопными остротами; они придумали даже несколько новых, специально для него. Они выложили ему весь запас забористых словечек, принятых в нашем кружке, а ему, вероятно, совершенно непонятных. И тогда, не выдержав этих грубых насмешек, он обернулся, и они увидели его лицо!

Я был счастлив, когда убедился, что у них еще сохранились остатки совести и что они поняли, какого сваляли дурака. Они стали объяснять бедняге, что приняли его за одного своего знакомого. Они выражали надежду, что он не считает их способными наносить такие оскорбления кому бы то ни было, кроме ближайших друзей.



Конечно, раз они приняли его за своего друга, их можно извинить. Как-то Гаррис рассказал мне о происшествии, которое случилось с ним в Булони, во время купанья. Он плавал неподалеку от пляжа, и вдруг кто-то схватил его сзади за загривок и окунул в воду. Гаррис отчаянно отбивался, но, видимо, он имел дело с настоящим Геркулесом, так как все его попытки вырваться были напрасны. Он уже перестал брыкаться и попытался было настроить свои мысли на душеспасительный лад, но тут злодей отпустил его.

Гаррис встал на ноги и оглянулся, в поисках своего предполагаемого убийцы. Негодяй стоял рядом и от души смеялся, но, увидев лицо Гарриса, возникшее из водной пучины, он отпрянул и ужасно сконфузился.

«Ради бога, простите меня, – растерянно пробормотал он. – Я принял вас за своего друга».

Гаррис считал, что ему чертовски повезло: если бы его приняли за родственника – он был бы уже утопленником.

Для плавания под парусом тоже требуются немалые знания и опыт. Впрочем, когда я был мальчишкой, я придерживался другой точки зрения: я считал, что сноровка придет сама собой – вроде как при игре в пятнашки или в мяч. У меня был товарищ, который разделял этот взгляд, и вот однажды, в ветреный день, нам захотелось попробовать свои силы в парусном спорте. Мы гостили тогда в Ярмуте и решили предпринять плавание по Яру. Вблизи моста мы разыскали лодочника и наняли парусную лодку.

«Ветерок-то свежий, – напутствовал нас лодочник, – возьмите лучше риф, а когда будете делать поворот, держите покруче к ветру».

Мы обещали выполнить все в точности и на прощанье бодро пожелали ему «счастливо оставаться», недоумевая про себя, что это значит, «держать покруче к ветру», и где нам раздобыть этот самый «риф», и что с ним делать, когда мы его добудем.

Пока город не скрылся из виду, мы шли на веслах, и только выбравшись на простор, где ветер превратился в настоящий ураган, мы почувствовали, что настало время действовать.

Гектор – кажется, его звали Гектором – продолжал грести, а я начал раскатывать парус. Хотя задача оказалась не из легких, я в конце концов с ней справился, но тут же снова стал в тупик перед вопросом, где у паруса низ и где верх.

Руководствуясь одним лишь природным инстинктом, мы, как и следовало ожидать, приняли верх за низ и закрепили парус вверх ногами. Но и после этого прошло немало времени, прежде чем нам удалось с грехом пополам поднять его на мачту. Парус, видимо, решил, что мы играем в похороны, причем я изображаю покойника, а сам он исполняет роль погребального савана.

Потом, убедившись в ошибочности этой версии, он треснул меня реей по голове и отказался принимать дальнейшее участие в представлении.

«Намочи его, – сказал Гектор. – Сунь в воду и намочи».

Он объяснил мне, что моряки всегда мочат паруса, прежде чем их поставить. Я так и поступил, но только ухудшил положение. Когда сухой парус липнет к вашим ногам и обвивается вокруг головы, это неприятно. Но когда то же самое проделывает парус совершенно мокрый, – это просто непереносимо.

В конце концов соединенными усилиями мы его одолели. Мы подняли его не вполне вверх ногами – он свешивался несколько набок – и привязали к мачте куском какой-то снасти, которую пришлось для этого разрезать.

Сообщаю, как факт, что лодка при этом не перевернулась. Почему она не перевернулась, я не знаю и объяснить не в состоянии. Впоследствии я много раз всесторонне обдумывал этот вопрос, но не пришел к сколько-нибудь удовлетворительному объяснению подобного феномена.

Быть может, в этом сказалась злая воля, свойственная всем вещам и явлениям нашего мира. Быть может, на основании поверхностных наблюдений за нашими действиями лодка вообразила, что мы просто собираемся покончить с собой, и вознамерилась расстроить каши планы. Вот единственное объяснение, которое приходит мне в голову.

Судорожно цепляясь за планшир, мы кое-как удержались в лодке. Это был поистине героический подвиг. Потом Гектор сказал, что пираты и другие мореплаватели во время сильных шквалов привязывают к чему-нибудь руль и держат к ветру при помощи одного лишь паруса; он считал, что и нам следовало бы попытаться сделать что-либо в этом роде. Но я настаивал на том, чтобы пустить лодку по ветру.

Поскольку мой план было легче осуществить, мы на нем остановились и, не расставаясь с планширом, повернули лодку под ветер.

Она тут же помчалась вперед с такой скоростью, с какой я больше никогда под парусом не плавал и впредь не собираюсь. Пробежав с милю, она вдруг повернула и накренилась так, что парус наполовину погрузился в воду. Затем она каким-то чудом выпрямилась и со всего размаху врезалась в длинную отмель, покрытую вязким илом.

Эта илистая отмель спасла нас. Лодка проложила себе путь в самую ее середину и там застряла. Убедившись, что нас уже не швыряет во все стороны, как поросят в мешке, и что мы снова обрели способность передвигаться по собственной воле, мы бросились к мачте и спустили парус.

Мы были сыты по горло парусным спортом. Зачем хватать через край? Мы боялись, что пресытимся. Мы совершили плавание под парусом – превосходное, захватывающее, увлекательное плавание – и пришли к выводу, что теперь для разнообразия следует идти на веслах.

Мы достали весла, и попытались сдвинуть лодку с отмели, и при этом сломали одно весло. Тогда мы стали действовать с величайшей осторожностью, но весла были совсем ветхие, и второе сломалось еще быстрее, чем первое, оставив нас совершенно беспомощными.

Впереди нас на добрую сотню ярдов простирался вязкий ил; позади была вода. Нам оставалось только сидеть и ждать, не явится ли кто-нибудь на выручку.

В такую погоду мало кому придет охота предпринять прогулку по реке: прошло целых три часа, прежде чем ка горизонте появилось человеческое существо. Это был старик рыбак, который, изрядно намучившись, вытащил нас все-таки из ила и с позором отбуксировал обратно к пристани.

Чтобы расплатиться за доставку домой, и за четыре с половиной часа пользования лодкой, и за сломанные весла, нам пришлось ухлопать все карманные деньги, собранные за много недель. Недешево обошлось нам плавание! Но зато мы приобрели опыт, а за опыт, как говорится, сколько ни заплати – не переплатишь.

Глава XVI

Рэдинг. – На буксире у катера. – Возмутительное поведение маленьких лодок. – Они не дают прохода паровым катерам. – Джордж и Гаррис опять увиливают от работы. – Весьма банальная история. – Стритли и Горинг.

Часам к одиннадцати мы добрались до Рэдинга. Темза здесь грязна и уныла. Все стараются поскорей миновать эти места. Рэдинг – город старинный и знаменитый: он стоял здесь уже при короле Этельреде,[47] в те незапамятные времена, когда датские военные корабли бросили якоря в Кеннете и датчане выступили из Рэдинга в свой грабительский поход на Уэссекс. Именно здесь Этельред и брат его Альфред встретили их и разбили; Альфред при этом сражался, а Этельред молился.

Позднее Рэдинг, по-видимому, считался самым удобным пристанищем для лондонцев, когда в Лондоне почему-либо становилось неуютно. Как только в Вестминстере[48] появлялась чума, парламент бежал в Рэдинг, а в 1625 году за ним последовал и верховный суд,[49] так что здесь велись все судебные процессы. Пожалуй, время от времени небольшие порции чумы шли Лондону на пользу, так как они разом избавляли его и от законников и от членов парламента.

Во время борьбы парламента с королем Рэдинг был осажден графом Эссексом,[50] а четверть века спустя принц Оранский разбил там войско короля Джеймса.[51]

В Рэдингском бенедиктинском аббатстве, развалины которого сохранились до наших дней, похоронен его основатель Генрих I;[52] в том же аббатстве достославный Джон Гонт[53] сочетался браком с леди Бланш.

У Рэдингского шлюза мы повстречали паровой катер, принадлежащий моим друзьям; они взяли нас на буксир и довели почти до самого Стритли. Как приятно идти на буксире у катера! Я лично считаю, что это куда приятнее, чем грести самому. И было бы еще приятнее, если бы всякие дрянные лодчонки не болтались у нас на пути. Нам приходилось то и дело стопорить машину и травить пар, чтобы не потопить их. Просто безобразие: от этих лодок житья не стало! Давно пора призвать их к порядку!

И какое, к тому же, чертовское нахальство! Вы им гудите так, что у вас чуть котел не лопается, а они и в ус не дуют! Будь на то моя воля, я непременно пустил бы несколько посудин ко дну и научил бы их уму-разуму.

Повыше Рэдинга Темза снова хорошеет. Возле Тайлхерста ее немного портит железная дорога, но начиная от Мэйплдерхэма и до самого Стритли она просто великолепна. Выше Мэйплдерхэмского шлюза стоит Харвикхаус, где Карл I[54] играл в шары. Окрестности Пенгборна, где находится курьезная крошечная гостиница «Лебедь», вероятно, так же примелькались завсегдатаям всевозможных художественных выставок, как и обитателям самого Пенгборна.

Чуть пониже пещеры катер моих друзей покинул нас, и тут Гаррис стал лезть из кожи вон, доказывая, что теперь моя очередь грести. Мне его претензия показалась совершенно

неосновательной. Еще с утра мы условились, что я должен тащить лодку до места, лежащего на три мили выше Рэдинга. Так вот, мы уже на целых десять миль выше Рэдинга! Ясно, что теперь опять их очередь!

Тем не менее мне не удалось внушить Джорджу и Гаррису надлежащий взгляд на это дело, поэтому, не тратя понапрасну пороху, я взялся за весла. Но не прошло и минуты, как Джордж увидел какой-то черный предмет, плавающий на воде, и направил к нему лодку. Приблизившись, Джордж перегнулся через борт и схватил этот предмет, но тут же смертельно побледнел, откинулся назад и испустил вопль ужаса.

Это был труп женщины. Она непринужденно лежала на-поверхности воды; ее лицо было нежно и спокойно. Его нельзя было назвать прекрасным, – это было лицо преждевременно увядшее, изможденное и худое. Но, несмотря на печать нищеты и страданий, оно все же было кротким, милым и на нем застыло то выражение всепоглощающего покоя, которое появляется на лицах больных, когда утихает боль.



К счастью для нас, – ибо у нас не было никакого желания застрять здесь и околачиваться в приемной следователя, – на берегу были люди, которые также заметили тело и сняли с нас заботу о нем.

Впоследствии мы узнали историю этой женщины. Как и следовало ожидать, это была старая, как мир, и банальная трагедия. Эта женщина любила и была обманута – или обманулась. Как бы там ни было, она согрешила, – кто из нас без греха? Ее родные и друзья, разумеется, сочли себя опозоренными и оскорбленными и захлопнули перед нею двери своих домов.

Покинутая всеми в чужом и враждебном мире, сгибаясь под тяжестью своего позора, она постепенно опускалась все ниже и ниже. В течение некоторого времени она жила на двенадцать шиллингов в неделю, которые добывала, занимаясь черной работой по двенадцать часов в день; шесть шиллингов она платила за содержание ребенка, а на остальные кое-как поддерживала свое бренное тело.

Но чтобы удержать в бренном теле живую душу, мало шести шиллингов в неделю: для этого нужны более крепкие узы. И вот в один прекрасный день тоска и беспросветность

существования, по-видимому, сжала ей горло с особенной силой, а кривляющийся призрак голода довел ее до полного отчаянья. Она обратилась к друзьям с последним призывом, но голос несчастной грешницы не проник сквозь каменную стену их добропорядочности. И тогда она отправилась повидать свое дитя; она взяла его на руки и целовала, ощущая глухое безнадежное горе, но ничем не выдавая своих чувств, а потом вложила в его ручонку грошовую шоколадку, ушла, купила на последние несколько шиллингов билет и поехала в Горинг.

Быть может, с тенистыми рощами и ярко-зелеными лугами, раскинувшимися вокруг Горинга, у нее были связаны мучительнейшие воспоминания, но женщины всегда неразумно хватаются за лезвие пронзающего их ножа. А может быть, среди этих горьких воспоминаний сохранилась и светлая память о блаженных часах, проведенных в густой тени могучих деревьев, склоняющих свои ветви до самой земли.

Весь день она бродила по прибрежным лесам, а когда настал вечер и сумерки окутали Темзу своей светло-серой мантией, она простерла руки к молчаливой реке, свидетельнице всех ее радостей и печалей. И древняя река приняла ее в свои нежные объятия, и приютила ее истомленную голову у себя на груди, и прекратила ее мучения.

Так и осталась она грешницей во всем: грешной была ее жизнь, грешной была и смерть. Помоги ей, боже, и всем остальным грешникам, если таковые еще водятся.

Горинг на левом берегу и Стритли на правом – чудесные городки, в которых приятно провести несколько дней. До самого Пенгборна эти места полны прелести и обещают радостное плавание, будь то под парусом или на веслах, среди бела дня или при лунном свете. Мы собирались дойти в тот день до Уоллингфорда, но река улыбалась нам так приветливо, что мы не устояли против соблазна немного задержаться; итак, мы оставили лодку у моста, пошли в Стритли и позавтракали в «Быке», к вящему удовольствию Монморанси.

Говорят, что холмы по обоим берегам реки некогда соединялись и преграждали ей дорогу и что Темза в те дни оканчивалась здесь, образуя огромное озеро. Я не в состоянии ни опровергнуть, ни подтвердить эту версию. Я ее просто передаю.

Стритли – старинный город, возникший, как и большинство прибрежных городов и деревень, еще во времена бриттов и саксов. Горинг куда менее привлекателен для путешественников, если, конечно, они располагают свободой выбора. Однако, в своем роде, и он достаточно красив, и к тому же лежит у железной дороги – немаловажное преимущество на тот случай, если вы собираетесь улизнуть из гостиницы, не заплатив по счету.

Глава XVII

Стирка. – Рыба и рыболовы. – Искусство удить рыбу. —Честный удильщик. – Рыболовная история.

Мы задержались в Стритли на два дня и отдали в стирку свою одежду. Сперва мы попытались сами выстирать ее в реке под руководством Джорджа, но потерпели неудачу. Неудача – это еще мягко сказано, так как до стирки одежды мы выглядели куда приличнее, чем после. До стирки она была грязной, можно даже сказать – чрезвычайно грязной. Однако ее еще можно было носить. А вот после стирки… – что уж тут скрывать! После этой стирки Темза от самого Рэдинга и до Хенли стала намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке между Рэдингом и Хенли.

Прачка в Стритли сказала нам, что она чувствует себя обязанной спросить тройную цену за стирку наших вещей. На них, сказала она, было столько грязи, что ее пришлось не отмывать, а разгребать.



Мы безропотно оплатили счет.

Окрестности Стритли и Горинга представляют собою крупный центр рыболовства. Рыбная ловля здесь процветает. Река в этих местах так и кишит щуками, окунями, пескарями, угрями и плотвой; вы можете сидеть и удить с утра до вечера.

Многие так и делают. Только им никогда ничего не удается поймать. Я еще ни разу не встречал человека, который выудил бы что-нибудь из Темзы, – если, конечно, не считать дохлых кошек и лягушек, но это, собственно говоря, уже не относится к рыболовству. Местный «Спутник рыболова» даже не заикается о возможности поймать какую-нибудь рыбешку. «Удобное местечко для рыбной ловли» – вот все сведения, которые можно из него почерпнуть, и я, на основании собственного опыта, могу подтвердить их справедливость.

В целом мире не сыщешь места, где удильщиков было бы больше и они удили бы дольше. Иные рыболовы являются сюда и удят целый день, а некоторые здесь останавливаются и удят целый месяц. Если хотите, можете тут поселиться и удить целый год, – результат будет тот же.

«Руководство по рыбной ловле на Темзе» говорит, что «в этих местах ловятся также молодые щуки и окуни», но тут руководство ошибается. Щуки и окуни в этих местах действительно *есть* . Это непреложный факт, отлично мне известный. Они носятся целыми стаями; когда вы прогуливаетесь по берегу, они наполовину высовываются из воды, глядят на вас и разевают рты в ожидании хлебных крошек. Когда вы купаетесь, они толкутся вокруг, шныряют под ногами и выводят вас из терпения. Но чтобы они «ловились» – будь то на червяка или еще каким-нибудь подобным способом, – нет уж, дудки!

Конечно, рыболов я неважный. В свое время я положил немало трудов, чтобы овладеть этим искусством, и, как мне казалось, добился заметных успехов. Однако знатоки сказали, что настоящего рыболова из меня не выйдет, и посоветовали бросить это дело. Они говорили, что у меня поразительно точный бросок, и за глаза хватит сообразительности, и что я в достаточной степени лодырь от природы. И все же они считали, что я никогда не добьюсь успеха в рыбной ловле. Для этого у меня не хватает воображения.

Они говорили, что я мог бы стать неплохим поэтом, автором бульварных романов, репортером или еще чем-нибудь в этом роде; но для того чтобы занять известное положение среди рыболовов на Темзе, требуется куда больше фантазии, выдумки и изобретательности, чем у меня.

Кое у кого сложилось впечатление, что умения бессовестно и нахально врать вполне достаточно, чтобы стать выдающимся рыболовом, – это роковая ошибка. Простая,

бесхитростная выдумка ничего не стоит; на нее способен любой желторотый юнец. Тщательная разработка деталей, тончайшие штрихи достоверности, убедительность и правдивость, граничащие с педантизмом, – вот признаки, по которым узнают бывалого рыболова.

Предположим, кто-нибудь войдет и скажет: «Слушайте, вчера вечером я наловил полторы сотни окуней», или: «В прошлый понедельник я вытащил пескаря весом в семнадцать фунтов и длиною в три фута».

Это бездарно, это не имеет ничего общего с искусством. Это свидетельствует о дерзости – и только.

Нет, уважающий себя рыболов гнушается подобной грубой ложью. Его метод заслуживает внимательного изучения.

Он преспокойно входит, не снимая шляпы выбирает себе кресло поудобнее, набивает трубку и, ни слова не говоря, начинает курить. Снисходительно выслушав похвальбу новичков и дождавшись паузы, он вынимает трубку изо рта, выколачивает золу о каминную решетку и замечает:

«Ладно, о том, что я поймал во вторник вечером, лучше никому и не рассказывать».

«Да почему же?» – спрашивают его.

«Да потому, что мне все равно никто не поверит», – спокойно отвечает он, без малейшего оттенка горечи в голосе. Потом он вновь набивает трубку и заказывает хозяину тройную порцию шотландского виски со льдом.

После этого наступает молчание; никто не решается возражать столь почтенному джентльмену. Теперь он может рассказывать, не опасаясь, что его прервут.

«Нет, – задумчиво продолжает он, – я бы и сам не поверил, расскажи мне кто-нибудь такую историю, но тем не менее это факт! Я сидел с полудня до вечера и абсолютно ничего не поймал; полсотни подлещиков и десятка два щучек, разумеется, в счет не идут. Я уже решил, что клев никуда не годится, и хотел бросить, как вдруг чувствую: кто-то здорово рванул лесу. Я подумал, что это опять какая-нибудь мелочь, и дернул. Пусть меня повесят, если удилище подалось хоть на дюйм! Ушло целых полчаса – полчаса, сэр! – пока мне удалось справиться с этой рыбиной, и каждую секунду я ожидал, что удилище переломится! Наконец я вытащил ее, и как вы думаете, что это было? Осетр! Сорокафунтовый осетр! Попался на крючок, сэр! Да, сэр, я понимаю ваше удивление!.. Хозяин, еще тройную шотландского, пожалуйста!»

И тут он начинает расписывать, как все были поражены, и что сказала его жена, когда он пришел домой, и что подумал об этом Джо Багглз.

Я спросил хозяина одной гостиницы, не приводят ли его порой в ярость все эти рыболовные истории. Он ответил:

«Нет, сэр, что вы! Теперь уже нет! Поначалу они меня, конечно, ошарашивали, но теперь – боже милосердный! – да ведь нам с хозяйкой приходится слушать их с утра до вечера. Ко всему привыкаешь, знаете ли. Ко всему привыкаешь».

Знавал я одного юношу. Это был честнейший паренек: пристрастившись к рыбной ловле, он взял себе за правило никогда не преувеличивать свой улов больше чем на двадцать пять процентов.

«Когда я поймаю сорок штук, – говорил он, – я буду всем рассказывать, что поймал пятьдесят, и так далее. Но сверх того, – говорил он, – я лгать не стану, потому что лгать грешно».

Однако двадцати пяти процентов было явно недостаточно. Ему никак не удавалось держаться в этих пределах. Действительно, самый большой его улов выражался цифрой три, а добавить к трем двадцать пять процентов нет никакой возможности, во всяком случае когда дело касается рыбы.

Ему пришлось повысить процент до тридцати трех с третью, но и этого не хватало, если удавалось поймать только одну или две рыбки. Тогда, чтобы упростить дело, он решил удваивать количество.

В течение двух месяцев он действовал по этой системе, но потом разочаровался и в ней. Никто не верил, что он преувеличивает улов только в два раза, и его репутация вконец испортилась, поскольку такая умеренность ставила его в невыгодное положение среди других рыболовов. Поймав три маленьких рыбешки и уверяя всех, что поймал шесть, он испытывал жгучую зависть к человеку, который заведомо выловил всего одну, а рассказывал направо и налево, что выудил два десятка.

В конце концов он заключил с самим собою соглашение, которое свято соблюдал; оно состояло в том, что каждая пойманная рыбка считалась за десяток, и еще десяток прибавлялся для почина. Например, если ему не удавалось вообще ничего поймать, он говорил, что выудил десяток. Десяток – это был наименьший улов, возможный при такой системе; это был ее, так сказать, фундамент. А дальше, если моему пареньку и в самом деле удавалось случайно подцепить одну рыбку, он считал ее за двадцать, две рыбки сходили за тридцать, три – за сорок и так далее.

Система эта была настолько проста и удобна, что пошли разговоры о том, нельзя ли заставить всю рыболовную братию пользоваться ею. Действительно, года два тому назад Комитет ассоциации рыболовов на Темзе рекомендовал ее повсеместное применение, но старейшие члены ассоциации воспротивились этому. Они сказали, что идея недурна, но множитель следует удвоить и каждую рыбу считать за двадцать.

Если у вас найдется свободный вечерок, советую вам забраться в какую-нибудь маленькую прибрежную гостиницу и облюбовать себе местечко в баре. Вы непременно встретите там двух-трех закоренелых удильщиков, которые, потягивая пунш, заставят вас проглотить за полчаса такую порцию рыболовных историй, что у вас потом целый месяц будет болеть живот.

На второй день пребывания в Стритли мы с Джорджем и собакой, покинутые на произвол судьбы (Гаррис запропастился неведомо куда; среди дня он вышел побриться, потом вернулся, потом ровно сорок минут начищал свои башмаки, и больше мы его не видели), так вот, мы с Джорджем и собакой прогулялись вечерком в Уоллингфорд, а на обратном пути забрели в маленькую прибрежную гостиницу, чтобы отдохнуть, закусить и прочее.

Мы вошли в общую комнату и уселись. Там был какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку, и мы, конечно, начали беседовать.

Он сообщил нам, что сегодня был славный денек, а мы сообщили ему, что вчера был славный денек, а потом мы все трое сообщили друг другу, что, вероятно, и завтра будет славный денек; Джордж еще сказал, что урожай, кажется, будет отличный.

После этого каким-то образом выяснилось, что мы здесь проездом и завтра утром двинемся дальше. Затем беседа прервалась и наступила пауза, во время которой наши глаза рассеянно блуждали по комнате. В конце концов они остановились на пыльном, древнем стеклянном шкафчике, повешенном высоко над каминной полкой. В нем красовалось чучело форели. Эта форель просто загипнотизировала меня: она была чудовищной величины. По совести говоря, я сперва подумал, что это треска.

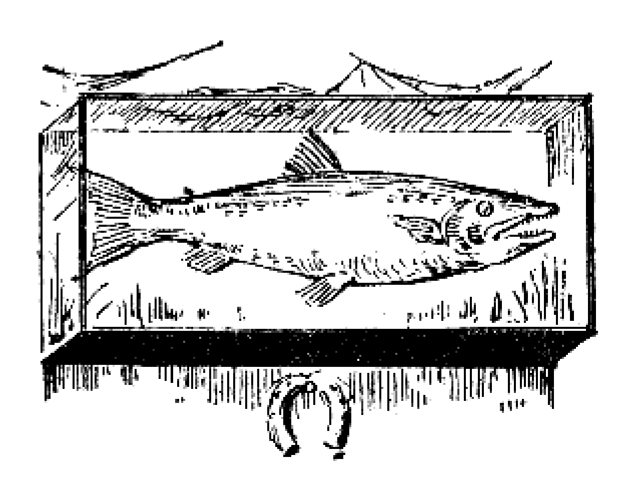
– А! – сказал джентльмен, проследив направление моего взгляда. – Славная штучка, не правда ли?

– Совершенно необыкновенная, – пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько она, по его мнению, весит.

– Восемнадцать фунтов и шесть унций, – ответил наш приятель, поднимаясь и снимая с вешалки свой плащ. – Да, – продолжал он, – третьего числа будущего месяца стукнет шестнадцать лет с того дня, как я вытащил эту рыбу. Я поймал ее на малька, чуть пониже

моста. Люди рассказали мне, что она завелась у нас в реке, а я и говорю: я должен ее поймать. И поймал ведь! Пожалуй, в наше время немного вы найдете форелей такой величины. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи!

Тут он вышел, и мы остались одни.



После этого мы глаз не могли оторвать от форели. Это была действительно замечательная форель. Мы все еще смотрели на нее, когда у гостиницы остановилась повозка. Спустя некоторое время возчик вошел в комнату с кружкой пива в руке и тоже засмотрелся на рыбу.

– Здоровенная форель, а? – сказал Джордж, обращаясь к нему.

– Что и говорить, сэр, не маленькая, – ответил возчик; потом он отхлебнул пива и добавил: – Может, вас здесь не было, сэр, когда ее поймали?

– Нет, не было, – сказали мы. – Мы приезжие.

– Ах, вот как, – сказал возчик, – тогда, конечно, это случилось не при вас. Я поймал эту форель лет пять назад.

– Так, значит, это вы ее поймали? – сказал я.

– Да, сэр, – ответил наш общительный собеседник, – я поймал ее как-то в пятницу днем, малость пониже шлюза, а лучше сказать, пониже того места, где тогда был шлюз, и ведь поймал-то просто на муху, вот здорово! Я собирался наловить щучек, а форель мне и в голову не приходила, будь я проклят, так что, когда я увидел у себя на крючке эту громадину, я, черт побери, чуть не окочурился. Ведь в ней, как-никак, двадцать шесть фунтов! Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи!

Спустя несколько минут пришел третий посетитель и описал, как он поймал эту форель ранним утром на уклейку. Затем он ушел, а на смену ему явился флегматичный джентльмен средних лет, который с важным видом уселся у окна.

Сперва все молчали. Потом Джордж повернулся к вновь прибывшему и сказал:

– Прошу прощения, сэр, и надеюсь, что вы извините нашу смелость, но мой друг и я совсем чужие в этих местах и были бы весьма признательны вам, если бы вы рассказали нам, как вам удалось поймать эту форель.

– А кто вам сказал, что эту форель поймал я? – удивился посетитель.

Мы ответили, что никто не говорил, но мы инстинктивно почувствовали, что это дело его рук.

– Вот уж это действительно поразительный случай, – рассмеялся флегматичный джентльмен, – совершенно поразительный, так как вы попали в самую точку! Действительно, ее поймал я. Подумать только! Как вы угадали? Нет, это совершенно поразительно!

Он совсем разошелся и рассказал нам, как потратил полчаса, чтобы вытащить эту форель, и как у него сломалось удилище. Он сообщил нам, что, придя домой, тщательно взвесил ее и она потянула тридцать четыре фунта.

Потом и он, в свою очередь, ушел, а к нам заглянул хозяин гостиницы. Мы передали ему все варианты рассказа о поимке форели. Он был в полном восторге, и мы хохотали до упаду.

– Неужели Джим Бейтс, и Джо Магглз, и мистер Джонс, и старина Билли Мондерс уверяли вас, что они поймали эту рыбу? Ха-ха-ха!.. Вот здорово!..

– потешался наш добрейший хозяин. – Да доведись любому из них поймать такую форель, разве он отдал бы ее *мне* , чтобы украсить *мою* гостиную? Как бы не так! Ха-ха-ха!!.

И тут он рассказал нам подлинную историю этой форели. Оказывается, поймал ее он сам, много лет тому назад, когда был совсем еще молодым пареньком. Для этого не потребовалось никакого искусства, – ему просто повезло, как везет иной раз мальчугану, который, соблазнившись солнечным днем, убегает из школы, чтобы посидеть на берегу с удочкой, сделанной из обрывка бечевки, привязанного к концу длинного прута.

Он рассказал нам, как притащил эту форель домой, и как она спасла его от заслуженной порки, и как сам учитель признал, что она стоит всех четырех действий арифметики с тройным правилом в придачу.

Тут его зачем-то вызвали из комнаты, а мы с Джорджем уставились на необыкновенную рыбу.

Это была воистину поразительная форель. Чем больше мы на нее смотрели, тем больше восхищались.

Джордж был так очарован, что взобрался на спинку стула, чтобы получше рассмотреть это чудо.

И вдруг стул пошатнулся; Джордж, чтобы удержаться, судорожно уцепился за шкафчик с форелью, шкафчик с грохотом полетел на пол, а за ним последовал сперва стул, а затем и сам Джордж.

– Рыба цела? – в ужасе вскричал я, бросаясь к нему.

– Надеюсь, что да, – ответил Джордж, осторожно поднимаясь на ноги и осматриваясь.

Но он ошибся. Форель лежала на полу, разбитая на тысячу кусков, – я сказал тысячу, но, возможно, их было только девятьсот. Я не считал.

Нам показалось весьма странным и непонятным, как чучело форели могло разлететься на такие мелкие куски.

Это и впрямь было бы весьма странно и непонятно, будь перед нами действительно чучело. Но чучела не было.

Форель была гипсовая.

Глава XVIII

Шлюзы. – Мы с Джорджем фотографируемся. – Уоллингфорд. – Дорчестер. – Эбингдон. – Отец семейства. – Подходящее местечко, чтобы утопиться. – Трудный участок реки. – Деморализующее влияние речного воздуха.

Рано поутру мы покинули Стритли, прошли на веслах до Калэма, ввели лодку в заводь и, натянув над собой брезент, легли спать.

Река между Стритли и Уоллингфордом не представляет особого интереса. За Кливом тянется длинный, в шесть с половиной миль, плес без единого шлюза. На верхней Темзе,

считая от Теддингтона, это, по-моему, самый длинный непрерывный плес, и на нем Оксфордский клуб[55] устраивает традиционные состязания восьмерок.

Однако это отсутствие шлюзов, столь удобное для заправских гребцов, весьма огорчает всех, кто путешествует для развлечения.

Я, например, очень люблю шлюзы. Они приятно разнообразят монотонное плавание. Мне нравится сидеть в лодке и медленно подниматься из прохладных глубин к новым горизонтам и новым пейзажам, или погружаться в бездну и потом следить, как расширяется узкая полоска дневного света между створками мрачных, скрипучих ворот; и вот вашему взору уже открывается гладь ласково улыбающейся реки и вы выводите свою лодочку из недолгого плена на приветливый простор Темзы.

Как они живописны, эти шлюзы! Как приятно перекинуться словечком с пожилым толстяком – смотрителем шлюза, с его веселой женой и ясноглазой дочкой [56]. Здесь всегда можно встретить другие лодки и обменяться сплетнями. Без этих обсаженных цветами шлюзов Темза перестала бы казаться страной чудес.

Разговор о шлюзах напомнил мне катастрофу, которая чуть не случилась со мною и Джорджем однажды прекрасным летним утром у Хэмптон-Корта. День был чудесный, шлюз буквально кишел лодками, и, как повелось на Темзе, какой-то предприимчивый фотограф нацелился снять нас в тот момент, когда шлюз начнет наполняться.

Я его сперва не заметил и поэтому был весьма удивлен, обнаружив, что Джордж лихорадочно подтягивает брюки, взбивает чуб и залихватски сдвигает шапочку на самый затылок, потом, скроив снисходительно-скорбную мину, принимает изящную позу и пытается куда-нибудь спрятать ноги.

Сперва мне пришло в голову, что он заметил какую-нибудь знакомую девушку, и я стал оглядываться, чтобы выяснить, кто она. Тут я увидел, что все вокруг меня словно окаменели. Люди сидели или стояли в таких причудливых и нелепых позах, какие встретишь разве только на картинках, украшающих японские веера. Все девушки улыбались. Ах, как мило они выглядели! А молодые люди хмурились, и лица их выражали строгость и благородство. Тут меня наконец осенило, я все понял и страшно испугался, что не успею приготовиться. Лодка наша стояла впереди всех, и с моей стороны было бы просто невежливо испортить фотографу снимок.

Я быстро повернулся лицом к аппарату и стал в позу на носу лодки; с небрежной грацией я опирался на багор, и вся моя фигура дышала силой и ловкостью. Я пригладил волосы, выпустил на лоб вьющуюся прядь и придал лицу выражение томной грусти с легким оттенком цинизма, которое, как я слышал, мне очень идет.

Пока мы так стояли в ожидании решительного момента, сзади раздался чей-то голос:

«Эй, вы, посмотрите на свой нос!»

Мне нельзя было оглянуться, чтобы выяснить, в чем дело и чей это нос нуждается в осмотре. Я только украдкой взглянул на нос Джорджа. Нос как нос, – во всяком случае, никаких поправимых изъянов я в нем не обнаружил. Тогда я скосил глаза на свой собственный нос, но и он как будто был в порядке.

«Посмотрите же на свой нос, осел вы этакий!» – крикнул тот же голос, но уже громче.

Затем другой подхватил:

«Вытаскивайте скорее свой нос, эй, вы, вы, двое с собакой!»

Ни я, ни Джордж не решались оглянуться. Фотограф уже взялся рукой за крышечку и приготовился делать снимок. С чего это они так орут? Что там такое с нашими носами? Откуда и зачем их вытаскивать?



Но тут завопил уже весь шлюз и чей-то могучий бас проревел:

«Посмотрите на свою лодку, сэр! Вы, вы, в черно-красной шапочке! Пошевеливайтесь, не то на снимке выйдут ваши трупы!»

Тут мы оглянулись и увидели, что нос нашей лодки застрял между брусьями стенки шлюза, а вода прибывает и лодка все наклоняется вперед. Еще секунда – и мы перевернемся. С быстротой молнии мы схватили но веслу и сильным ударом оттолкнулись от стенки; лодка освободилась, а мы полетели вверх тормашками.

Нет, мы не стали украшением этой фотографии – ни я, ни Джордж. Как и следовало ожидать при нашей незадачливости, фотограф пустил в ход свою чертову машину как раз в тот момент, когда мы лежали на дне лодки, отчаянно болтая ногами в воздухе, а на наших физиономиях было написано: «Где мы? Что случилось?»

Разумеется, наши четыре ноги расположились в центре снимка. Они почти начисто заслонили все остальное. Они заняли весь передний план. За ними виднелись смутные очертания других лодок и какие-то клочки окружающего пейзажа, но все это выглядело таким жалким и незначительным в сравнении с нашими ногами, что пассажиры других лодок устыдились собственного ничтожества и не стали заказывать карточки.

Владелец одного катера, заказавший было полдюжины карточек, отменил свой заказ, как только увидел негатив. Он соглашался взять эти снимки, если кто-нибудь найдет на них его яхту. Но это никому не удалось: яхта скрывалась где-то за правой ногой Джорджа.

Вообще это была пренеприятная история. Фотограф считал, что мы с Джорджем должны взять по дюжине карточек каждый, поскольку мы заняли девять десятых площади снимка. Однако мы отказались. Мы заявили, что мы не прочь сниматься во весь рост, но, во всяком случае, не вверх ногами.

Уоллингфорд, лежащий шестью милями выше Стритли, – старинный городок, сыгравший немалую роль в истории Англии. Сперва это был жалкий примитивный поселок из глины, основанный бриттами, которые жили здесь до тех пор, пока римские легионеры не прогнали их и не заменили окружавшие его глинобитные стены мощными укреплениями, развалины которых до сих пор противостоят натиску Времени, – так прочно умели строить каменщики тех древних времен.

Но, не справившись со стенами римских крепостей, Время обратило в прах самих римлян, и в последующие годы, до прихода норманнов, эти места были ареной сражений между свирепыми саксами и дюжими датчанами.

Укрепленный и обнесенный стенами город простоял до самой Парламентской войны, когда Ферфакс[57] подверг его долгой и жестокой осаде. В конце концов город пал и его стены были сравнены с землей.

Между Уоллингфордом и Дорчестером берега Темзы становятся более холмистыми, разнообразными и живописными. Дорчестер стоит в полумиле от реки. На маленькой лодке до

него можно добраться по мелководью, однако лучше всего пристать к берегу у Дейского шлюза и пройти к городу лугами. Дорчестер – очаровательный, мирный, старинный городок, уютно дремлющий среди тишины и безмолвия.

Как и Уоллингфорд, он существовал уже во времена бриттов; он назывался тогда Caer Doren – «город на воде». Позднее здесь был огромный римский лагерь, окруженный укреплениями, от которых в наши дни остались только невысокие пологие холмы. При саксах Дорчестер был столицей Уэссекса. Когда-то этот древний город был богат и силен, а теперь, оставшись в стороне от шумного света, он тихонько дремлет и клюет носом.

Клифтон-Хэмпден – прелестная деревушка, старинная, мирная, утопающая в цветах; окрестности ее живописны и разнообразны. Если вам доведется заночевать в Клифтоне, остановитесь лучше всего в «Ячменной скирде». Это, безусловно, самая старинная и самая занятная гостиница на Темзе. Она стоит справа от моста, довольно далеко от деревни. Покатая соломенная кровля и решетчатые окна придают ей почти сказочный вид, а когда попадаешь внутрь, то и вовсе начинаешь чувствовать себя «в некотором царстве, в некотором государстве».

Для героини современного романа подобная гостиница едва ли была бы подходящим убежищем. Героиня современного романа, как правило, обладает «божественно статной фигурой» и ежеминутно «выпрямляется во весь рост». В «Ячменной скирде» она при этом всякий раз стукалась бы головой о потолочные балки.

Для пьяниц эта гостиница тоже не подходит. Здесь такая уйма всяких ступенек в самых неожиданных местах – то вверх, при входе в одну комнату, то вниз, при входе в другую, – что пьяному нечего и думать благополучно разыскать свою спальню и добраться до кровати.

Наутро мы встали рано, так как хотели к полудню попасть в Оксфорд. Просто удивительно, как рано встаешь, когда ночуешь на открытом воздухе! Если спишь не на перине, а на дне лодки, завернувшись в плед и сунув под голову саквояж вместо подушки, то как-то нет охоты выкраивать «еще хоть пять минуток». Поэтому к половине девятого мы не только покончили с завтраком, но даже успели пройти через Клифтонский шлюз.

От Клифтона до Калэма тянутся плоские, унылые, однообразные берега, но за Калэмским шлюзом – это самый холодный и глубокий шлюз на Темзе – местность становится привлекательнее.

Абингдон стоит у самой реки. Это типичный провинциальный городок, спокойный, чистенький, чрезвычайно респектабельный и невыносимо скучный. Он считает себя старинным и гордится этим, но едва ли его можно сравнить с Уоллингфордом и Дорчестером. Когда-то в нем было знаменитое аббатство; теперь оно разрушено, и его полуразвалившиеся, некогда освященные стены служат в наши дни приютом для пивоварни.

В Абингдонской церкви св. Николая стоит памятник Джону Блейкуоллу и его жене Джейн, которые после долгого и счастливого супружества скончались в один и тот же день, 21 августа 1625 года. В церкви св. Елены вы найдете записи о мистере У.Ли, который умер в 1637 году после того, как «произвел на свет силою чресл своих две сотни потомков без трех». Если вы дадите себе труд подсчитать, то найдете, что семейство мистера Ли состояло из ста девяноста семи человек. Мистер Ли пять раз избирался мэром Абингдона и был, без сомнения, благодетелем своих сограждан. Поскольку, однако, наш девятнадцатый век страдает от перенаселенности, я надеюсь, что таких людей, как мистер Ли, осталось немного.

Между Абингдоном и Ньюнэм-Кортни река прелестна. В ньюнэмском парке стоит побывать. Он открыт для осмотра по вторникам и четвергам. Во дворце собраны богатые коллекции картин и редкостей, да и сам парк очень красив.

Омут у Сэндфордской запруды, которая начинается сразу же за шлюзом, – настоящая находка для всякого, кто ищет подходящего местечка, чтобы утопиться. Здесь необычайно сильное подводное течение: стоит лишь вам туда попасть – и дело в шляпе. Тут установлен

обелиск, отмечающий место, где уже утонули двое купальщиков. Ступеньки этого обелиска служат трамплином для молодых людей, желающих на собственном опыте убедиться в том, что здесь и вправду опасно.



За милю до Оксфорда лежит Иффлийский шлюз с «Мельницей»; для художников, помешанных на речных пейзажах, это излюбленный сюжет. Кстати сказать, после их картин настоящий шлюз вызывает некоторое разочарование. Вообще, как я заметил, почти все вещи в этом мире выглядят на картинах куда лучше, чем в действительности.

Около половины первого мы прошли Иффлийский шлюз, привели лодку в порядок, сделали приготовления к высадке и двинулись на приступ последней мили.

Я не знаю на Темзе более трудного участка, чем эта миля между Иффли и Оксфордом. Чтобы ориентироваться в этих местах, нужно здесь родиться. Я плавал тут множество раз, но освоиться мне так и не удалось. Человек, способный безошибочно пройти по фарватеру от Оксфорда до Иффли, сумел бы, вероятно, ужиться под одной крышей с женой, тещей, старшей сестрой и старой служанкой, которая нянчила его в младенческие годы.

Сперва течение тащит вас к правому берегу, потом к левому, потом оно выносит вас на середину, заставляет сделать три полных оборота вокруг собственной оси, потом несет обратно и кончает, как правило, попыткой расплющить вас в лепешку о какую-нибудь баржу.

Все это послужило причиной того, что на протяжении последней мили мы то и дело становились поперек дороги другим лодкам, и они нам, а это, в свою очередь, послужило причиной того, что обе стороны проявили повышенную склонность к бранным выражениям.

Не знаю, чем это объяснить, ко на реке все необыкновенно раздражительны. Пустяковые неудачи, которые на суше проходят почти незамеченными, приводят вас в бешенство, если они случаются на воде. Когда Гаррис и Джордж разыгрывают из себя ослов на суше, я снисходительно посмеиваюсь, но когда они ведут себя как болваны на реке – я пускаю в ход такие ругательства, что кровь стынет в жилах. Когда другая лодка лезет прямо наперерез моей, я испытываю непреодолимое желание схватить весло и перебить сидящих в ней – всех до единого.



Люди, обладающие на суше мягким и кротким характером, становятся грубыми и кровожадными, как только попадают в лодку. Однажды мне довелось совершить небольшое плавание с молодой леди. В обычной жизни она была на редкость милым и нежным созданием, ко слушать, как она выражается на реке, было просто страшно.

«Эй, будь ты проклят! – кричала она, когда на пути попадался какой-нибудь незадачливый гребец. – Куда прешь! Не видишь, что ли?»

А если парус не устанавливался в нужное положение, она хватала его, грубо дергала и приговаривала: «Ах ты чертова перечница!»

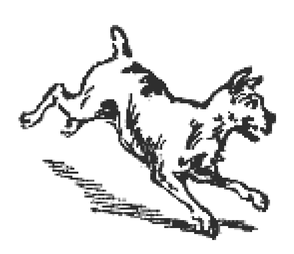


И тем не менее, как я уже говорил, на берегу она была очень любезна и приветлива.

Речной воздух, несомненно, оказывает деморализующее влияние на человеческий характер. Вероятно, этим и объясняется, что даже барочники иной раз грубят друг другу и загибают словечки, которых в спокойные минуты сами же, без сомнения, стыдятся.

Глава XIX

Оксфорд. – Рай в представлении Монморанси. – Лодка, нанятая в верховьях Темзы, ее прелести и преимущества. – «Гордость Темзы». – Погода портится. – Темза при различной погоде. – Вечерок не из веселых. – Тоска по невозможному. – Завязывается веселая беседа. – Джордж играет на банджо. – Траурная мелодия. – Еще один дождливый день. – Бегство. – Скромный ужин и тост.



В Оксфорде мы провели два очень приятных дня, Оксфорд переполнен собаками.



Монморанси отметил первый день одиннадцатью драками, второй – четырнадцатью и, по-видимому, решил, что попал прямо в рай.





Среди людей, от природы слишком слабых (или слишком ленивых), чтобы находить удовольствие в гребле против течения, распространен обычай нанимать в Оксфорде лодку и спускаться по течению Темзы. Однако люди энергичные, конечно, предпочитают подниматься. Не дело – плыть всегда по течению. Чувствуешь громадное удовлетворение, когда напрягаешь мышцы, борешься с рекой и наперекор ей прокладываешь себе путь вперед. По крайней мере у меня возникает именно такое чувство, – в особенности, когда я сижу за рулем, а Гаррис и Джордж гребут.

Всем, кто решит избрать Оксфорд отправной точкой своего путешествия, я рекомендую запастись собственной лодкой, если только нет возможности запастись чужой, без риска попасться. Лодки, которые можно получить напрокат в верхнем течении Темзы, повыше Марло, – это превосходные лодки. Они почти не протекают и, если соблюдать осторожность, лишь в редких случаях идут ко дну или распадаются на составные части. В них есть места для сидения и все – или почти все – необходимое, чтобы грести и править.

Но красотой они не блещут. В лодке, которую вы возьмете напрокат на Темзе повыше Марло, вам не удастся пофорсить и пустить кому-нибудь пыль в глаза. Она быстро положит конец подобным затеям своих пассажиров. Это ее главное, можно даже сказать – единственное, достоинство.

Обладатель наемной лодки склонен к скромности и уединению. Он любит держаться в тени деревьев и путешествует большей частью либо рано утром, либо поздно вечером, когда река пустынна и на него некому глазеть.

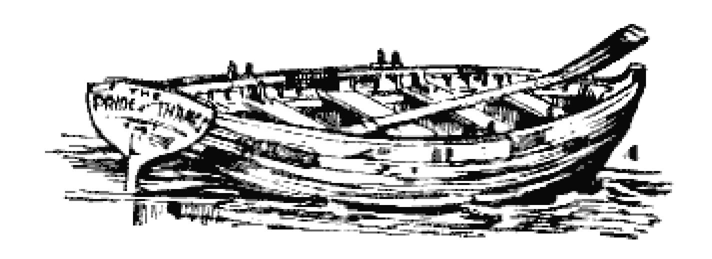
Завидев издали знакомого, обладатель наемной лодки вылезает на берег и прячется за дерево.

Однажды летом я принимал участие в прогулке, для которой наша компания наняла на несколько дней лодку в верховьях Темзы. Никто из нас до тех пор не видел наемной лодки, а когда мы ее увидели, то никак не могли догадаться, что это такое.

Мы заказали по почте четырехвесельный ялик. Когда мы явились на пристань с чемоданами в руках и назвали себя, лодочник сказал:

«Как же, как же, вы заказали четырехвесельный ялик. Он готов. Джим, притащи-ка сюда „Гордость Темзы“!»

Мальчик ушел и через пять минут вернулся, с трудом волоча за собой деревянную колоду доисторического вида, которую, судя по всему, недавно выкопали из-под земли, и, к тому же, выкопали так небрежно, что без всякой необходимости нанесли ей тяжкие повреждения.



Лично я с первого взгляда на этот предмет решил, что передо мной какая-то реликвия эпохи Древнего Рима, – какая именно, я затруднялся определить, но полагал, что скорее всего гроб.

Такое предположение казалось мне весьма правдоподобным, поскольку верховья Темзы изобилуют римскими древностями. Однако один из наших спутников, серьезный юноша, смысливший кое-что в геологии, поднял на смех мою римскую теорию и объявил, что любой мало-мальски мыслящий человек (категория, к которой он, при всем желании, причислить меня не может) сразу же узнает в найденном мальчишкой предмете окаменелого кита. И он указал нам на ряд признаков, свидетельствовавших о том, что кит принадлежал к доледниковому периоду.

Чтобы покончить с этой дискуссией, мы обратились к мальчишке. Мы заклинали его ничего не бояться и сказать нам, положа руку на сердце, что это такое: окаменелый допотопный кит или древнеримский гроб?

Мальчик сказал, что это – «Гордость Темзы».

Сперва мы нашли его ответ чрезвычайно остроумным и кто-то даже дал ему два пенса за находчивость, но когда он стал настаивать, мы решили, что шутка переходит границы, и разозлились.

«Ну, хватит, хватит, милейший! – оборвал его наш капитан. – Нечего дурака валять! Тащи это корыто обратно к мамаше, у нее сегодня стирка, а нам давай лодку».

Тогда к нам снова вышел хозяин и заверил нас словом делового человека, что эта штука – действительно лодка, и не просто лодка, а тот самый «четырехвесельный ялик», на котором нам предстоит спуститься по течению Темзы.

Мы, конечно, здорово разворчались. Мы считали, что он мог бы по крайней мере побелить ее или осмолить, – словом, хоть что-нибудь сделать, чтобы ее можно было отличить от обломка кораблекрушения. Но он не видел в ней никаких недостатков.

Он даже обиделся на наши замечания. Он сказал, что выбрал для нас лучшую лодку на всей пристани и что это просто черная неблагодарность с нашей стороны.

Он сказал, что «Гордость Темзы», в том виде, в каком она здесь стоит (надо бы сказать не «стоит», а «рассыпается»), служит верой и правдой целых сорок лет только на его памяти, и никто никогда на нее не жаловался, и он никак не поймет, что это на нас нашло.

Мы воздержались от дальнейших пререканий.

Мы связали веревочками части этой, с позволения сказать, лодки, оклеили самые неприглядные места кусками обоев, помолились богу и вступили на борт.

За шестидневное пользование этой посудиной с нас содрали тридцать пять шиллингов; на любой распродаже обломков, выкидываемых волнами на берег, мы могли бы приобрести такую же рухлядь за четыре шиллинга и шесть пенсов.

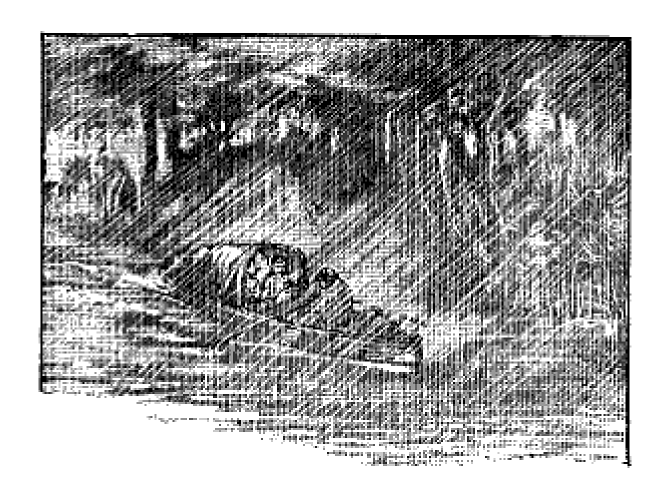
На третий день пребывания в Оксфорде погода испортилась. (Простите! Я возвращаюсь к рассказу о нашем теперешнем путешествии.) Мы пустились в обратный путь под мерно моросящим дождем.

Река – в дни, когда сверкает солнце, блики на волнах танцуют, бродят по лесным тропинкам, золотят вершины буков, гонят тень из-под деревьев, блещут на колесах мельниц, шлют кувшинкам поцелуи, в воду прыгают с плотины, серебрят мосты и стены, озаряют все селенья, радуют луга и пашни, оплетают ивы сетью, в каждой бухте отдыхают, вдаль уходят с парусами, наполняют мир сияньем, – в дни такие наша Темза кажется рекой волшебной, полной золота рекой.

Но река – в ненастье, в холод, когда волны грязно-буры, дождик в них роняет слезы, шепчет жалобно, по-вдовьи, а вокруг стоят деревья в бледных саванах тумана, в чем-то молча упрекают, словно призраки немые, призраки с печальным взором, призраки друзей забытых, – в дни такие наша Темза неживая, теневая, скорби полная река.

Солнечный свет – это горячая кровь природы. Какими тусклыми, какими безжизненными глазами смотрит на нас мать-земля, когда солнечный свет покидает ее и гаснет! Нам тогда тоскливо с нею: она как будто не узнает и не любит нас. Она подобна женщине, потерявшей любимого мужа: дети трогают ее за руки, заглядывают ей в глаза и не могут добиться от нее даже улыбки!

Целый день мы гребли под дождем, – что за унылое занятие! Сперва мы делали вид, что страшно рады. Мы говорили, что любим разнообразие и что нам интересно познакомиться с Темзой во всех ее обличьях. Мы говорили, что совсем не рассчитывали на неизменно ясную погоду, да и не желали ее. Мы уверяли друг друга, что природа, прекрасна и в слезах.



Первые несколько часов мы с Гаррисом были просто в восторге от этой погоды. Мы даже затянули песню о прелестях цыганской жизни, открытой солнцу, и грозам, и ветру, и еще о том, как цыган радуется дождю, как наслаждается им и как смеется над всеми, кто не любит дождя.

Джордж относился к нашим забавам весьма сдержанно и не расставался с зонтиком.

Перед завтраком мы натянули брезент, оставив открытым лишь маленький кусочек на носу, чтобы можно было орудовать веслом и обозревать окрестности; так мы и плыли до самого вечера. За день мы прошли девять миль и остановились на ночлег немного ниже Дэйского шлюза.

Врожденная порядочность не позволяет мне утверждать, что мы провели веселый вечер. Дождь лил с непоколебимым упорством. Все наши вещи промокли и слиплись. Ужин оставлял желать лучшего. Когда не чувствуешь голода, холодный пирог с телятиной как-то не лезет в глотку. Мне хотелось котлет и сардин, Гаррис вслух мечтал о рыбе под белым соусом, он отдал

остатки своего пирога Монморанси, который от них отказался и, явно оскорбленный таким угощением, перешел на другой конец лодки, где и уселся в полном одиночестве.

Джордж потребовал, чтобы мы прекратили эти разговоры, иначе он подавится холодной отварной говядиной, к которой не было даже горчицы.

После ужина мы вытащили карты и стали играть в наполеон по одному пенни партия. Мы играли добрых полтора часа, после чего выяснилось, что Джордж выиграл четыре пенса – Джорджу всегда везет в картах, – а я и Гаррис проиграли ровно по два пенса.

Тогда мы решили прекратить это азартное занятие. Гаррис сказал, что оно слишком возбуждающе действует на нервную систему, если хватить через край. Джордж предложил было продолжать, чтобы мы могли отыграться, но я и Гаррис решили не вступать в единоборство с судьбой.

После этого мы приготовили себе пунш, уселись в кружок и принялись болтать. Джордж рассказал нам об одном своем знакомом, который два года назад поднимался вверх по Темзе, и однажды, – погода была точь-в-точь, как сейчас, – провел ночь в сырой лодке, и схватил ревматизм, и ничто уже не могло его спасти, и десять дней спустя он умер в страшных мучениях. Джордж сказал, что его знакомый был совсем молодым человеком, и как раз собирался жениться, и что вообще нельзя себе представить ничего более трагического, чем этот случай.

Тут Гаррис вспомнил одного своего приятеля, который служил в волонтерском полку, и однажды возле Олдершота[58] провел ночь в сырой палатке, – «погода была точь-в-точь, как сейчас», – сказал Гаррис, – и утром проснулся калекой на всю жизнь. Гаррис сказал, что, когда мы вернемся в город и он познакомит нас с этим приятелем, наши сердца обольются кровью при одном взгляде на несчастного.

Сразу же, само собой разумеется, завязалась увлекательная беседа о прострелах, лихорадках, простудах, бронхитах и воспалениях легких, и Гаррис сказал, что если бы кто-нибудь из нас вдруг серьезно заболел, это было бы просто ужасно, так как поблизости нет ни одного врача.

Подобные разговоры, по-видимому, неизбежно влекут за собой жажду развлечений, и вот, в минуту слабости, я предложил Джорджу вытащить банджо и попытаться исполнить какую-нибудь песенку повеселее.

Должен заметить, что Джорджа не пришлось упрашивать. Он не стал лепетать всякий вздор о том, что оставил банджо дома и тому подобное. Он тотчас же выудил откуда-то свой инструмент и заиграл «Волшебные черные очи».

До этого вечера я всегда считал мотив «Волшебных черных очей» довольно-таки банальным. Однако Джордж сумел вложить в него столько меланхолических чувств, что я был просто потрясен.

Чем дольше слушали мы с Гаррисом эти траурные звуки, тем сильнее мучило нас желание броситься друг другу в объятия и зарыдать; нечеловеческим усилием воли мы подавили подступающие слезы и в молчании слушали душераздирающую мелодию.

Когда дело дошло до припева, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Мы снова наполнили стаканы и хором затянули следующие слова, причем Гаррис запевал дрожащим от волнения голосом, а я и Джордж вторили ему:

Волшебные черные очи,

Я вами сражен наповал!

За что вы меня погубили,

За что я так долго…

Тут мы не выдержали. Непередаваемая экспрессия, с которой Джордж проаккомпанировал словам «за что», окончательно сломила наш и без того уже угнетенный

дух. Гаррис рыдал как ребенок, а собака так выла, что я стал бояться: вдруг она надорвет себе сердце или голос?

Джордж хотел исполнить еще один куплет. Он считал, что, когда он лучше вникнет в мелодию и сможет вложить в исполнение больше непринужденности, она будет звучать не так плачевно. Однако мы большинством голосов отклонили этот эксперимент.

Делать было больше нечего, и мы легли спать, то есть разделись и начали ворочаться на дне лодки. Часа через три мы кое-как забылись беспокойным сном, а в пять утра уже поднялись и позавтракали.

Второй день был как две капли воды похож на первый. Дождь не прекращался ни на минуту, а мы, закутавшись в непромокаемые плащи, сидели под брезентом и медленно плыли по течению.

Один из нас – не помню, кто именно, но, кажется, это был я – сделал утром робкую попытку снова понести вчерашнюю цыганскую чепуху насчет того, что вот, мол, мы дети Природы и любители слякоти. Все было напрасно. Песенка:

Что может быть противнее дождя –

с такой мучительной очевидностью выражала наши чувства, что распевать ее тоже не имело смысла.

В одном пункте мы были единодушны: будь что будет, но мы доведем это дело до конца, каков бы он ни был. Мы собирались две недели наслаждаться плаваньем по реке, и мы будем две недели наслаждаться плаваньем по реке. Пусть мы при этом погибнем, – что ж, тем, хуже для наших друзей и родственников! Тут уж ничего не поделаешь! Мы чувствовали, что при нашем климате спасовать перед погодой значило бы создать опаснейший прецедент.

– Осталось всего два дня, – сказал Гаррис, – а мы молоды и сильны. В конце концов, быть может, мы еще останемся в живых.

Часов около четырех мы приступили к обсуждению планов на вечер. В тот момент мы находились немного ниже Горинга и намеревались добраться до Пенгборна, чтобы там заночевать.

– Еще один приятный вечерок! – проворчал Джордж.

Мы сидели в глубоком раздумье. В Пенгборне мы будем, вероятно, к пяти. С обедом можно управиться, скажем, к половине седьмого. Дальнейшее времяпрепровождение рисовалось нам в виде следующей альтернативы: либо гулять по городку под проливным дождем, пока не придет время отправляться ко сну, либо сидеть в унылом, полутемном баре и изучать календарь.

– Уф, пожалуй, даже в «Альгамбре»[59] было бы веселее! – сказал Джордж, высовывая на секунду нос из-под брезента и оглядывая небо.

– Если потом поужинать у ***, – машинально добавил я.[60]

– Да, прямо-таки чертовски досадно, что мы решили не расставаться с лодкой, – ответил Гаррис, после чего воцарилось молчание.

– Если бы мы не решили обречь себя на верную смерть в этой проклятой дряхлой посудине, – заметил Джордж, с нескрываемой ненавистью оглядывая лодку, – стоило бы, пожалуй, припомнить, что, насколько мне известно, поезд из Пенгборна отходит в начале шестого. Мы попали бы в Лондон как раз вовремя, чтобы наскоро перекусить, а потом отправиться в заведение, о котором ты говоришь.



Ему никто не ответил. Мы поглядывали друг на друга, и, казалось, каждый читал на лицах остальных свои собственные подлые мысли и намерения. Ни слова не говоря, мы вытащили и уложили наш кожаный саквояж. Мы посмотрели на реку: в одну сторону и в другую сторону. Кругом – ни души.

Двадцать минут спустя можно было наблюдать, как трое мужчин в сопровождении сконфуженного пса, крадучись, пробираются от пристани у гостиницы «Лебедь» к станции железной дороги.

Одежда путников не отличалась ни чистотой, ни элегантностью: черные кожаные башмаки – грязные; фланелевые костюмы – очень грязные; коричневые фетровые шляпы – измятые; плащи – насквозь промокшие; зонтики.

Лодочника в Пенгборне мы попросту обманули (у нас не хватало духу сознаться, что мы решили сбежать от дождя). Лодку, со всем ее содержимым, мы оставили на его попечение и велели приготовить ее для нас к девяти часам утра. Если же, сказали мы, какие-нибудь непредвиденные обстоятельства задержат нас, то мы ему напишем.

В семь часов мы прибыли на Пэддингтонский вокзал и прямо кинулись в вышеупомянутый ресторан; слегка перекусив, мы поручили хозяину присмотреть за Монморанси (а также за ужином, который следовало приготовить к половине одиннадцатого) и направили свои стопы к Лейстер-скверу.

В «Альгамбре» мы стали центром всеобщего внимания. В кассе нам сердито сказали, что мы опоздали на полчаса и что артистам положено входить с Касл-стрит. Нам стоило немалых трудов убедить кассира, что мы вовсе не «Всемирно известные акробаты с Гималайских гор», после чего он получил с нас деньги и позволил войти.

Внутри нас ожидал еще больший успех. Люди не могли оторвать восхищенных взоров от наших благородных бронзовых физиономий и живописных костюмов. Мы вызвали всеобщую сенсацию.

Это был настоящий триумф!

Как только окончилось выступление кордебалета, мы удалились и вернулись в ресторан, где нас уже ожидал ужин.

Должен признаться, я получил удовольствие от этого ужина. Целых десять дней мы пробавлялись, в общем, только холодным мясом, кексами и хлебом с вареньем. Пища, что и говорить, простая и питательная, но не слишком богатая острыми ощущениями. Поэтому аромат бургундского, и запах французских соусов, и аппетитные булки, и чистые салфетки, как долгожданные гости, наперебой стучались в двери наших душ.

Сперва мы жадно ели и пили в полном молчании, выпрямившись и крепко ухватив ножи и вилки, но время шло, и вот мы откинулись на спинки стульев, и стали ленивее жевать мясо, и уронили на пол салфетки, а потом вытянули ноги под столом, обвели критическим взором

закопченный потолок, которого вначале не заметили, отставили подальше бокалы и преисполнились доброты, глубокомыслия и всепрощения.

Гаррис, сидевший у окна, отдернул штору и посмотрел на улицу.

Влажно поблескивала мокрая мостовая, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, струи дождя яростно хлестали по лужам, и целые потоки низвергались на тротуар из водосточных желобов. Вымокшие прохожие бежали рысью, сгорбившись под зонтиками, с которых вода лила в три ручья; женщины высоко подбирали юбки.

– Что ж, – сказал Гаррис, протягивая руку за бокалом, – путешествие было на славу; я от души благодарен старушке Темзе. А все же мне кажется, что наш последний поступок – когда мы дали тягу – был мудрый поступок. Итак, за здоровье троих, благополучно выбравшихся из лодки!

И Монморанси, стоя на задних лапах перед окном и глядя в темноту, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту.





Примечания

1

Повесть «Трое в лодке…» – самое популярное произведение Джерома К. Джерома. Оно было впервые опубликовано в 1889 году и с тех пор почти ежегодно переиздается большими тиражами в Англии и Америке. В шутливом предисловии («Самореклама») к изданию 1909 года Джером говорит, что сам он не находит в своей книге достоинств, которые могли бы объяснить «столь необычный успех». И далее он пишет:

«Я печатал книги, казавшиеся мне гораздо умнее, и книги, казавшиеся мне гораздо смешнез. Однако читатели упорно предпочитают помнить меня как автора повести „Трое в лодке (не считая собаки)“. Есть критики, которые объясняют успех этой книги в народе тем, что она вульгарна и совершенно лишена юмора; но сейчас уже начинаешь понимать, что это не ответ на загадку. Произведение, написанное в дурном стиле, может иметь непродолжительный успех среди ограниченного круга лиц, но оно не могло бы непрерывно расширять круг своих читателей на протяжении двадцати лет. Подумав это, я пришел к следующему заключению: какова бы ни была причина успеха книги, я имею право гордиться тем, что написал ее. Конечно, если я действительно написал ее. Ибо, по правде говоря, мне трудно вспомнить, как было дело. Помню только, что чувствовал я себя в то время страшно молодым и страшно довольным собой (по причинам, касающимся только меня одного). Стояло лето, а летом Лондон прекрасен. Подобно сказочному городу, весь окутанный золотистой дымкой, он раскинулся под моим окном, так как работал я в мансарде – высоко над крышами других домов; ночью огни светились где-то далеко внизу, и я глядел сверху в пещеру Аладдина, заполненную сверкающими драгоценностями. В те летние месяцы я и написал свою книгу. Произошло это само собой, и, по-видимому, я просто не мог не написать ее».

Повесть «Трое в лодке…» неоднократно издавалась на русском языке, но обычно в сокращенном виде. В данном издании повесть печатается в новом переводе, без каких-либо сокращений.

2

Британский музей, основанный в 1753 г., имеет в своем составе обширную библиотеку с читальным залом.

3

Капитан Кук. – Джеймс Кук (1728-1779) – английский мореплаватель, исследователь островов Тихого океана. Сэр Фрэнсис Дрейк (1545-1595) – английский колонизатор и мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие в 1577-1580 гг.

4

закуска (франц.)

5

Мыс Горн – южная оконечность американского континента, славится свирепствующими вблизи него бурями.

6

Джей – название буквы английского алфавита и первая буква имени Джером. В Англии принято в дружеском разговоре заменять подобными сокращениями непривычные или слишком длинные имена.

7

«Пятичасового чая у нас не будет…» – в английских буржуазно-аристократических семьях в пять часов пополудни (время светских визитов) принято подавать чай с легкой закуской – так называемый файф-о-клок.

8

«…на розыски Стенли» – Генри Мортон Стенли (1841-1904) – английский путешественник, исследователь Центральной Африки. В 1871 г. Стенли возглавил экспедицию, выехавшую на поиски пропавшего без вести знаменитого английского путешественника Дэвида Ливингстона. С этим обстоятельством и связано насмешливое замечание мальчишки-посыльного о том, что герои повести отправляются на розыски Стенли.

9

Тюдоры – династия, царствовавшая в Англии с 1485 по 1603 г.

10

Кенингестун – в буквальном переводе Царьград (от англосаксонского кенинг – князь, царь, и тун – огороженное место, град, т.е. город; сравните с русским словом «тын»).

11

…римские легионы расположились лагерем на окрестных холмах. – В 54 г. до н.э. Юлий Цезарь, бывший в то время правителем римской провинции Галлии, переправился со своими легионами через Ла-Манш и закрепил в Британии римское владычество, продолжавшееся до V в. н.э.

12

…был… солиднее доброй королевы Бесс: он не ночевал в трактирах. – Бесс – сокращенное имя от Элизабет; дочь Генриха VIII и Анны Болейн, английская королева Елизавета I, прозванная королевой-девственницей, так как она «из государственных соображений» не вступала в брак, правила с 1558 по 1603 г. Здесь и ниже Джером высмеивает пристрастие англичан к «историческим местам» и «историческим преданиям»: во второй половине XIX в., когда начал развиваться туризм, чуть ли не каждая придорожная гостиница и трактир в Англии рекламировались их хозяевами как место, где останавливалось какое-нибудь историческое лицо.

13

…простоватый король Эдви. – Англо-саксонский король Эдви (точнее – Эдвиг, умер в 959 г. н.э.) в день своей коронации в Кенингестуне ушел с пира, для того чтобы встретиться со своей будущей женой Эльгивой, дочерью его кормилицы Этельгивы, знатной дамы, связанной с группой феодалов, боровшихся с теми, кто окружал трон молодого короля. Придворная знать послала архиепископа Дунстана (известного в истории под именем св. Дунстана), чтобы тот «вырвал Эдвига из объятий Эльгивы», что тот и сделал, силою заставив короля вернуться на пир. Упоминающийся тут же архиепископ Одо (точнее – Ода) к описываемому эпизоду никакого отношения не имел. Однако он вместе с Дунстаном возглавил партию феодалов, объявивших младшего брата Эдвига, Эдгара, королем и начавших междоусобную войну. Война кончилась компромиссом, в результате которого Эдвиг остался королем; в 958 г. Ода расторг его брак с Эльгивой как противозаконный

14

Стюарты – династия, царствовавшая в Англии с 1603 по 1648 и с 1660 по 1714 г.

15

Сэндфорд-и-Мертон. – Гарри Сэндфорд и Томми Мертон – неразлучные друзья, герои популярной повести Томаса Дея (1748-1789) «История Сэндфорда и Мертона», первой «школьной повести» в истории английской литературы.

16

Иеддо – старинное название столицы Японии Токио.

17

Гаррис смешивает слова и мелодии двух оперетт английского композитора А.Селливена (1842-1900) «Суд присяжных» (1875) и «Передник» («Фрегат ее величества „Передник“, или Девушка любит матроса») (1878), написанных на текст драматурга У.-С.Гилберта (1836-1911). Юмор ситуации усугубляет то, что фабула «Фрегата „Передник“…» основана на ошибке кормилицы: двух младенцев перепутали в колыбели, и в результате сын аристократа стал матросом, а сын простолюдина – капитаном. Лорд адмиралтейства восстанавливает «справедливость», превращая матроса (дворянина) в капитана, а капитана в матроса.

18

Кромвель и Брэдшо. – Оливер Кромвель (1599-1658) – английский государственный деятель и полководец, игравший видную роль в английской буржуазной революции и в 1653

г. объявивший себя лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Джон Брэдшо (1602-1659) – английский юрист, президент специальной парламентской коллегии, судившей короля Карла I и приговорившей его к смертной казни. В XIX веке однофамилец Джона Брэдшо Джордж Брэдшо выпускал популярные в Англии путеводители для туристов и железнодорожные справочники.

19

…сражение между Цезарем и Кассивеллауном. – Во время своего второго похода в Британию (54 г. до н.э.) Цезарь столкнулся с упорным сопротивлением, организованным вождем союза бриттских племен Кассивеллауном, который преградил путь Цезарю, укрепив северный берег Темзы валом и частоколом. Однако, невзирая на укрепления, римским легионам удалось форсировать Темзу.

20

Во второй половине XIX в. английская общественность боролась против законов, запрещавших проезд по частной территории (даже если она не огорожена забором) или временное пребывание ка ней без разрешения ее владельца. Поскольку почти все парковые угодья и земельные участки по берегам Темзы принадлежали частным владельцам, английским судам нередко приходилось разбирать дела «о нарушении границ». В связи с развитием туризма количество таких дел постоянно увеличивалось.

21

Йомены – так в XIV-XVI вв. назывались в Англии свободные (не крепостные) крестьяне, имевшие собственную землю.

22

…смысл которой стал ясен простому народу… – Намек на то, что до английской буржуазной революции XVII в. народ Англии не имел никаких политических прав

23

Сквайр – в средневековой Англии молодой дворянин, служивший оруженосцем у рыцаря или барона

24

Окажись на месте Джона Ричард… – Король Ричард Львиное Сердце – английский король с 1189 по 1199 г., старший брат Джона, с большею частью английской армии участвовал в Третьем крестовом походе; покидая Англию, он оставил Джона Своим наместником; пользуясь отсутствием Ричарда и его армии, бароны подняли восстание против Джона, лишили его почти всех коронных земель и в конце концов принудили его капитулировать.

25

Остров Великой Хартии Вольностей – остров, на котором в 1215 г. английский король Джон (Иоанн Безземельный; правил с 1199 до 1216 г.), потерпевший поражение в войне с крупными феодалами, подписал грамоту, даровавшую определенные права, или «вольности», баронам, рыцарям и некоторым слоям купечества. Хотя Великая хартия не давала никаких прав простому народу, английская буржуазная историография называет ее «краеугольным камнем конституционных свобод всякого англичанина».

26

…Генрих VIII назначал свидания Анне Болейн. – Описывая жизнь короля Генриха VIII (1491-1547), укрепившего абсолютную монархию в Англии, английские буржуазные историки останавливаются не столько на политической стороне его деятельности, сколько на его личной жизни, которую они изображают, в отличие от Джерома, в самых мрачных красках. Анна Болейн – вторая из шести жен Генриха; в 1536 г. была обвинена в измене и обезглавлена.

27

…и подробно излагаете свою точку зрения на ирландский вопрос. – Ирландия, находившаяся на протяжении многих веков под владычеством Англии, неоднократно восставала против английского ига. Говоря об ирландском вопросе, Джером имеет в виду парламентскую борьбу ирландских националистов в 80-е гг. XIX в. за предоставление Ирландии «гомруля», т. е. самоуправления в рамках Британской империи.

28

Эдуард Исповедник – англо-саксонский король с 1042 по 1066 г.; своей политикой содействовал ослаблению политического единства Англии и тем самым завоеванию страны норманнами.

29

Граф Годвин (умер в 1053 г.) стоял во главе одного из крупнейших англо-саксонских графств – Уэссекса.

30

…накануне августовских каникул. – В первый понедельник августа государственные служащие Англии получают дополнительный выходной день. Под августовскими каникулами подразумеваются первое воскресенье и понедельник августа; лондонцы обычно проводят эти дни за городом.

31

Вильгельм Завоеватель (1027-1087) – с 1035 г. герцог Нормандии; с 1066 г., после битвы при Гастингсе, в которой он разбил войска последнего англо-саксонского короля Гаральда, – король Англии. Матильда – жена Вильгельма Завоевателя. Лорд Пэджет (Вильям Пэджет; 1505-1565) – видный политический деятель, министр иностранных дел при Генрихе VIII, советник регента в царствование Эдуарда VI (1547-1553), член тайного совета при королеве Марии Кровавой (правила с 1553 по 1558 г.), советник королевы Елизаветы в первые годы ее царствования.

32

Тамплиеры (или храмовники) – члены церковно-рыцарского ордена, основанного в 1119 г.

33

Анна Клевская (1515-1557) – четвертая жена короля Генриха VIII; стала королевой в начале 1540 г., а уже в июле того же года парламент по настоянию короля признал его брак недействительным.

34

Уорик, «делатель королей». – Ричард Невилл, граф Уорик (1428-1471), во время войны Алой и Белой розы захватил в плен короля Генриха VI и возвел на престол Эдуарда IV. Убедившись, что Эдуард – не намерен слепо повиноваться ему, пытался восстановить на престоле Генриха VI, но был убит в бою с войсками, оставшимися верными Эдуарду.

35

Солсбери – Вильям Монтакют, граф Солсбери (1328-1397); во время битвы при Пуатье (одно из важнейших сражений Столетней войны между Англией и Францией, 1356 г.) командовал арьергардом английских войск и отразил атаку основных сил французской армии.

36

…со времен короля Сэберта и короля Оффы. – Сэберт – король восточных саксов; умер в 616 г. н.э.; Оффа (ум. в 796 г.) – король Мерсии, одного из королевств, основанных англо-саксами на территории Британии.

37

Датское Поле… – Во второй половине IX в. в Англию вторглись войска данов (датчан), подчинившие себе к 870 г. большинство англо-саксонских графств к северу от Темзы; однако Уэссекс, расположенный южнее Темзы, оставался независимым. В 871 г. датчане, продвигаясь на запад, достигли среднего течения Темзы вблизи Рединга и, разбив лагерь на северном берегу реки, сделали попытку вторгнуться в Уэссекс

38

Медменхэмские монахи. – Под этим названием в середине XVIII в. в здании быв. Медменхэмского аббатства группой передовых просветителей был организован клуб с девизом «Делай что хочешь», заимствованным из романа великого французского писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где описывается утопическая коммуна ученых, поэтов и художников – Телемская обитель (от греч. телема – свободное желание); на воротах Телемской обители и был высечен девиз «Делай что хочешь». Реакционная пресса Англии, стремясь опорочить медменхэмских монахов, приписывала им всякие непристойные поступки.

39

…пресловутый Уилкс. – Джон Уилкс (1727-1797), прогрессивный издатель и член палаты общин, подвергавшийся преследованиям и тюремному заключению за борьбу против реакции; один из организаторов вышеупомянутого клуба.

40

Монахи-цистерцианцы – средневековый орден монахов-аскетов, основанный в 1098 г. Медменхэмское аббатство было построено цистерцианцами в начале XIII в.

41

Понтон. – Подразумевается распространенный в Англии вид плавучей дачи: небольшая понтонная баржа с жилыми надстройками.

42

Уоргрейвская гостиница «Георгий и Дракон» гордится своей вывеской… – Вывески придорожных гостиниц и трактиров в Англии прикреплялись к столбу или к стене дома под прямым углом к дороге и были, таким образом, расписаны с двух сторон. Св.Георгий считается официальным патроном, т.е. небесным покровителем, Великобритании.

43

Арри и лорд Фитцнудл – нарицательные имена для вульгарного кокни и не менее вульгарного, по мнению Джерома, аристократического сноба; несмотря на резкое различие в их общественном положении, Джером считает оба эти типа двумя сторонами «одной медали» – пошлости и ограниченности. Имя Фитцнудл образовано от приставки «fitz», встречающейся в фамилиях многих аристократических семей Англии, и слова «noodle», означающего «болван», «рохля».

44

Кембеллы – один из главных феодальных кланов (родов) Шотландии, на протяжении столетий поддерживавший шотландских королей в их борьбе против английского господства. «Кембеллы идут» – боевой гимн этого клана, позже ставший в Шотландии популярной патриотической песней.

45

…детей, покинутых в лесу. – Подразумеваются персонажи старинной английской баллады-сказки, в которой рассказывается о судьбе двух маленьких сирот, брата и сестры, оставленных в темном лесу по воле злого родича и погибших от голода.

46

…поплавать на плоскодонке. – Здесь речь идет не о гребной лодке, а о широко применяемой на мелководных реках Англии понтонной лодке со срезанным носом и такой же кормой и с плоскими бортами, по которым ходят, отталкиваясь шестом от дна реки.

47

…уже при короле Этельреде… – В 871 г. датчане сделали попытку завоевать Уэссекс – сильнейшее из англо-саксонских графств, которыми в то время правил Этельред; в разгар борьбы с датчанами Этельред заболел и вскоре умер. Во время его болезни фактическая власть перешла в руки его младшего брата Альфреда, ставшего королем в 871 г., после смерти Этельреда.

48

Вестминстер. – Подразумевается группа построек разных эпох, включая быв. Вестминстерское аббатство и здание парламента (Новый Вестминстерский дворец) в Лондоне.

49

…в 1625 году за ним последовал и верховный суд… – Здесь и дальше у Джерома ряд исторических неточностей; так, например, в 1625 г. парламент собрался не в Рэдинге, а в Оксфорде.

50

Во время борьбы парламента с королем… – Борьба английского парламента, в котором большинство принадлежало буржуазно-дворянской оппозиции, против королевской власти началась еще при Якове I, но особенно острый характер приняла при Карле I, вылившись в буржуазную резолюцию, которая началась в 1642 г, в виде гражданской войны между армией парламента и армией короля. Граф Эссекс был назначен командующим парламентской армией, после захвата королевской конницей Рэдинга (октябрь 1642 г.) ссадил город и в феврале 1643 г. освободил его от монархистов. Принц Вильгельм Оранский (1650-1702) – штатгальтер Нидерландов, с 1689 г.

51

Во время так называемой славной революции 1688 г. принц Оранский высадился в Англии с небольшой армией и вскоре вступил в Лондон, почти не встретив сопротивления со стороны войск короля Джеймса (Якова II). Здесь, как и в других местах, Джером допускает ряд исторических неточностей

52

Генрих I – английский король, младший сын Вильгельма Завоевателя; правил с 1100 по 1135 г.

53

Джон Гонт – герцог Ланкастерский, третий сын короля Эдуарда III, дядя Ричарда II и отец Генриха IV; играл важную роль в политической жизни Англии.

54

Карл I – английский король из династии Стюартов; правил с 1625 по 1648 г.; в январе 1649 г. был казнен по приговору парламентской комиссии.

55

Оксфордский клуб. – Имеется в виду клуб гребного спорта Оксфордского университета; традиционные состязания в академической гребле устраиваются в Хенли (так называемая Хенлийская регата).

56

Вернее, было приятно. Управление речной охраны стало теперь настоящим агентством по найму идиотов. Большинство новых шлюзовых смотрителей, особенно на оживленных участках

реки, – сварливые, раздражительные старикашки, совершенно неподходящие для этой должности (прим.автора)

57

Сэр Томас Ферфакс (1612-1671) – в 1645 г. сменил графа Эссекса в качестве командующего парламентской армией.

58

Олдершот – город, расположенный к юго-западу от Лондона; в 1854 г. здесь был организован большой военный учебный лагерь

59

«Альгамбра» – театр в центре Лондона, на Лейстерсквер; в конце XIX и в начале XX в. ставил преимущественно скучные балеты и салонные пьесы.

60

Превосходный уединенный ресторанчик неподалеку от ***, где можно получить несравненные по изысканности и дешевизне легкие обеды и ужины во французском вкусе, а также бутылку отменного вина за три шиллинга и шесть пенсов; впрочем, я не такой идиот, чтобы рекламировать это местечко (прим. автора)
